

Павел Загребельный
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ
И КНЯГИНЯ ИНГЕГЕРДА



Павел Архипович Загребельный Ярослав Мудрый и Княгиня Ингегерда

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8326297

Загребельный, Павел Архипович Ярослав Мудрый: ист. роман: АСТ;

Москва; 2014

ISBN 978-5-17-086687-8

Аннотация

Исторический роман известного писателя П. А. Загребельного (1924–2009) рассказывает о жизни и деятельности великого киевского князя Ярослава Владимировича, прозванного Мудрым.

Книга также выходила под названием «Ярослав Мудрый».

Содержание

Год 992	5
Год 1004	91
Год 1004	133
Год 1015	206
Конец ознакомительного фрагмента.	207

**Павел Архипович
Загребельный
Ярослав Мудрый**

© Загребельный П. А., наследники, 2014

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Год 992

Большое солнцестояние

Пуща

*Во оны дни и услышат глушии словеса книжная
и ясн будет язык гугнивых.*

Летопись Нестора

В тот день, когда он пришел на свет, повсюду лежали девственно белые снега, и солнце ярко горело над ними – огромное низкое солнце над приднепровскими пущами, и таилась тишина в полях и лесах, и небо было чистое и красивое, как глаза его матери. Видел ли он эти глаза и небо в них и слышал ли ту первую тишину своей жизни? Мать родила его среди молчаливых снегов, и он поспешил подать голос. Старый Дед-Мороз люто ударил ему в губы, силясь угомонить первый крик новорожденного, но добрые боги велели морозу идти прочь, и первый крик прозвучал так, как и надлежало, – пронзительно, неудержимо, радостно: «Живу!»

Но память жизни дается человеку не с первым его криком, а потом, она возникает в тебе будто сотрясение будто взрыв, и свое бытие на земле ты исчисляешь с того момента.

Для него мир начался тьмой. Глухая чернота заливала все вокруг, и он барахтался на самом дне ее, в какой-то тяжелой

тине, и плакал отчаянно и безнадежно. Был он посреди бесконечной, ужасающе чужой дороги, сплошь погруженной в темноту. Ничего не знал и не видел. Ноги сами угадывали направление, ноги несли его дальше и дальше по дороге, глубже и глубже в темноту, и ему становилось все страшнее и страшнее, и он плакал горько-прегорько. Тьма затягивала его в себя, поглощала его, и он послушно шел в нее, вездесущую, и только и умел, что плакать.

Так и пронесет воспоминания об этом через всю свою жизнь. Он это был или только приснилось?

Потом был дед Родим. Собственно, и не сам дед, а его руки, две бесконечно широкие теплые лопаты, которые извлекли младенца из черноты безнадежной дороги, а потом как-то странно прикасались к голове мальчика, к жестким, будто на спине волчонка, волосам, и от этого непривычного прикосновения плач перешел во всхлипывание, а потом и вовсе затих и прекратился.

Большущий человек с густыми, тронутыми крутой седinou волосами на голове и на лице, прикрытый спереди шкурой тура, зацепленной толстым ремнем за похожую на ствол старого дуба шею, колдовал над пламенем. Красное, желтое, сизое, а то внезапно вырвется оттуда черное и испуганно спрячется за мерцающую красноту, сиреневая муть растворяется в нежной синеве – краски рождались, играли, переливались, краски жили буйной, веселой жизнью сначала в горне, потом на лице, на широких дедовых руках, на всей

его могучей фигуре, а потом уж плыли и на Сивоока, проходили сквозь него, и он чувствовал, что начинает жить этими красками, этими огненными вспышками в задымленной хижине, а еще он жил отвагой точно такой же, как та, что была в дедовых руках, когда они без страха погружались в бурление пламени и доставали оттуда зацелованные огнем удивительные вещи, которые светились красками, еще более неожиданными и яркими, чем те, которые мальчонка видел на земле и на небе.

Дед был – Родим, а он – Сивоок. Это воспринималось как данность, это начиналось еще до того, как он помнит себя, точно так же, как пламя, как руки деда, как податливая глина в тех руках, как радужность красок, среди которой выросстал малыш.

Дед Родим всегда молчал. Не было людей вокруг; словно спокон веку жил он на пустынном удолье у дороги, ведущей неведомо куда, знал Родим лишь глину и бушующее пламя в горне, молча лепил свои посудины, бросал на них причудливое переплетение краски, обжигал в горне и складывал под камышовым навесом.

Зачем слова?

Дед круто замешивал глину, бросал увесистый комок на деревянный исшарканный крут, перед тем раскрутив его (приспособление для раскручивания круга ногой было для Сивоока непостижимейшей вещью из всего, что происходило), осторожно приближал к куску глины свои широкие ла-

дони, и глина тянулась вверх, разрасталась, оживала, с веселой покорностью шла за ладонями. Слова здесь были ни к чему.

А уже потом вступали в дело пальцы деда, будто играли на гибкой податливости глины, и из этой молчаливой музыки рождались то красивый горшочек, то высокий кувшин, то вместительный жбан, то причудливая посуда на тонкой ножке. И все молча, без единого слова.

Иногда Родим принимался за другую работу. Не вертелся тогда круг, глина тугими брусками лежала на широкой липовой доске и ждала прикосновения пальцев, а еще больше – влажности красок, которые до поры до времени дремали в надпиленных турьих рогах, расположенных на поставце именно так, чтобы к ним легко можно было дотянуться рукой. В такие дни Родим передвигался по хижине с несвойственной для его крупного тела осторожностью, его движения обретали торжественную скованность, он словно бы творил молчаливую молитву древним богам, унаследованным от деда-прадеда, и в самом деле из пламени Родимова горна выходили на свет древние славянские боги, несли в при-темненность старой хижины певучее многообразие цветов, и каждый цвет имел свой голос и свой язык, так что лишними казались бы здесь обыкновенные слова с их будничной заурядностью.

Родим никогда ничего не говорил Сивооку, не объяснял ему, что происходит в пламени и на глине, на которую при

помощи соломинок капельками наносились певучие краски, зачерпнутые из турьих рогов. Из его уст малыш не услышал названия ни одного из богов, однако вскоре уже знал их всех, уловив это из уст заброд-купцов, которые торговались с Родимом, покупая его посуду и его богов, и уже знал, что четырехликий, сосредоточенный в мудрости своих четырех ликов, обращенных на все четыре стороны света, – Световид, а тот гневливый, искристо-желтый – это бог молний Перун, а зеленый, будто затаенные лесные чащи, – пастуший покровитель Велес, а тот, надутый, как пузырь, с жадными глазами и широкими поздрями – это Сварог, верховный бог неба и света; самым же лучшим показался Сивооку Ярило, щедрый бог плодородия, от которого ярится земля и все живое, добрый всемогущий медно-голый бог, украшенный таким веселым зельем, которое никому и не снилось. Сивоок долго не мог понять, почему именно этот бог так дорог его сердцу, и только однажды, случайно подсмотрев, как Родим с особой старательностью колдует над новым Ярилом, увидел: дед дает богу свое обличье!

В этом Сивоок не усматривал ничего удивительного, потому что давно уже заметил общность между богами и дедом Родимом. Молчали боги, молчал и Родим. Только тогда, когда купцы начинали слишком уж назойливо торговаться, он отрезал односложно своим глухим басыщем: «Да» или «Нет», «Мало» или «Пусть».

Родим казался Сивооку величайшей силой на свете, но од-

нажды малыш подметил, как дед молча молился у источника деревянному, неизвестно кем поставленному Световиду, и понял: бог сильнее, чем Родим. С тех пор бог представлялся ему всем, что сильнее Родима. Еще понял он, что есть бог чужой и есть – мой. Договариваться с богами трудно. Они всегда молчат, не знаешь, слышат тебя или нет, угодил ты им или нет. Наверное, боги дают силу. Кто меня побеждает, у того сильнее бог. У Родима бог был самый сильный, потому что дед никого не боялся. Он раздавал своих глазурированных богов, не жалел на них самых светлых красок, а сам довольствовался старинным, посеревшим от времени и непогоды, деревянным Световидом, потому что был уверен в его неодолимости.

Купцы, сколько их видел Сивоок, мало чем отличались от деда. Были сильными, очень грозными на вид, хорошо вооруженными, обладали такими громкими голосами, что хотелось заткнуть уши. Однако они сразу видели, что на Родима их голоса не действуют, потому переходили от крика к угрозам, хватались за мечи, звали слуг, и те проталкивались в хижину или под камышовый навес. Наставляли на старика длинные копья. Конец всегда был один и тот же. Родим незаметным для постороннего глаза движением протягивал руку к столбу, подпиравшему крышу, и вот уже в его тяжелой руке коротко сверкал невероятно широкий и длинный меч, и обрубленные одним ударом копья сыпались к ногам старика, а маленькие мечи купцов со звоном падали следом.

Мечи были развешаны у Родима на всех столбах, одинаково широкие, с черными рукоятками, без ножен, он никогда не точил их, но ничего более острого Сивоок не видел; никогда не чищенные, они не тускнели, не ржавели, в них можно было заглядывать, как в тихую прозрачность воды. Однажды Родим забыл повесить меч после особенно горячей стычки с купцами-грабителями, он просто прислонил его к столбу и принялся за свою работу, и тогда Сивоок тайком попробовал поднять оружие, ухватился обеими руками за рукоять, наклонил тяжелое железо на себя, дернул и упал, накрытый безжалостной тяжестью.

Родим молча снял с него меч, повесил на столб, а Сивоока легонько толкнул под бок, как толкал его каждое утро, чтобы он просыпался и вставал завтракать.

Ели они рыбу, жареную, вяленую и соленую, мясо копченое и свежати́ну, хлеб, преимущественно просяной, реже ржаной, а пили воду и мед, старый, выстоянный. И хлеб, и меды – все это у них было среди запасов, приобретенных Родимом у купцов, и лежало в маленьком чулане без окон, где хранились у них также меха вевериц, куниц, бобровьи и соболи, шкуры волчьи и медвежьи, мотки серебряной проволоки и заморские монеты, нарубки из драгоценных металлов и дорогие гривны – целое сокровище, ценности которого Сивоок еще не мог знать.

Рыбу ловили в речке, а мясо добывали на охоте в пуще, куда Родим брал Сивоока чуть ли не с первого дня, как тот

стал жить у него, выловленный из мутной ночной тьмы, и, быть может, именно во время этих изнурительных странствий среди лесной безбрежности более всего набирался Сивоок силы, которая должна была когда-то сравняться с силой Родима.

Потом к ним присоединился третий. Назвать его товарищем Сивоок не мог, а Родим никого никак не называл, потому-то третий был не товарищ, а просто третий. А был это конь. Впервые Сивоок увидел коня издали, когда тот пасся на лугу возле речки и дед Родим позвал его свистом. Издали это было что-то пепельно-серое, мохнатое, довольно неказистое. Но когда конь подбежал ближе и Сивоок увидел его крутую шею, широкую грудь, крепкие тонкие ноги, которые, казалось, звенели, с разгона ударяясь в землю, – конь ему сразу понравился, и он молча мысленно назвал его ласково Зюзь, потому что когда дед Родим звал его, то к своему свисту прибавлял еще глухое гудение голосом, и получался неповторимо-удивительный звук: зю-зю-зю.

Однако Зюзь не разделял симпатии малыша. С первого же раза он дал понять, что объявляет Сивооку войну, а вся провинность малого заключалась просто в самом факте его существования, да еще, вероятно, в том, что он вклинился в старую дружбу двух отшельников: коня и Родима. Зюзь принадлежал к свободным созданиям природы, он не ведал угнетения и покорности, не знал, что такое запряжка, и с нескрываемым презрением смотрел на тех жалких коняг, ко-

торые тащили по размокшей дороге купеческие повозки на скрипучих колесах; если и подставлял он свою спину Родиму, то в глубине своей конской души, видно, считал, что это не человек идет с ним в пушу, а наоборот, он, конь, берет человека себе в попутчики в дальние странствия, по которым он истосковался на привольных пастбищах.

И вот этот установившийся порядок сразу же был нарушен, как только Родим, прежде чем сесть на коня самому, примостил на переднюю луку седла какое-то новое, чужое существо, которому даже пробормотал что-то ласковое, чего конь от него никогда не слышал. Зюзь ждал, что будет дальше. Конечно, он мог ударить задними ногами, подбросить круп так, что этот малыш кубарем полетел бы через голову, или же, наоборот, встать свечой на задних ногах, перегибаясь назад, чтобы сбросить непрошеного всадника на землю. Но это было бы нечестно по отношению к старику. Поэтому конь терпеливо ждал.

Дальше старик привычно поставил ногу в стремя, оперся всем своим тяжелым телом так, что коня поперекосило и он должен был напрячь все силы, чтобы твердо устоять на месте, потом было мгновение, когда тяжеленное тело Родима летело над спиной коня и для Зюзя наступило облегчение, потом Родим прочно уселся в седле – так, что даже хребет прогнулся у Зюзя, и только теперь конь от удивления перешел к возмущению таким неслыханным нахальством, такой изменой со стороны своего единственного на свете и, каза-

лось бы, верного товарища, и в конской душе тотчас же созрела месть против того, кто отважился встравать между ними двумя – между конем и человеком: Зюзь змеино выгнул шею, скосил сизый влажный глаз направо, чтобы не промахнуться, презрительно сдвинул свои всегда ласково-мягкие, а теперь затвердевшие в ненависти губы, обнажив большие желтоватые беспощадные зубы, и – вот! Конь метил на ногу малыша. Может, он хотел не так куснуть, как испугать для первого раза. А может, и хватнул бы за маленькую икру – кто знает. Но Родим, обычно казавшийся неповоротливым и медлительным, на этот раз опередил коня. Он рванул могучей рукой левый повод, железные удила звякнули между конскими зубами, раздирая Зюзю рот, повернули шею коня на место, а тяжелые ноги деда одновременно с этим изо всех сил ударили в подвздошь, бросая с места в карьер.

С тех пор конь испытывал к Сивооку одну лишь ненависть. Пока перед отъездом на охоту Родим набрасывал на него потник, пока прилаживал седло, Зюзь норовил то наступить острым копытом малышу на ногу, то незаметно куснуть его за край одежды или фыркнуть у него над ухом, обдавая своим горячим ненавистным духом.

Родим не пускал Сивоока купаться в речке и вырыл для него маленький омут, в котором вода прогревалась до самого дна и можно было лежать хоть целый день, пуская пузыри, брызгая в сторону солнца, вода прутиком по вязкому дну, что так напоминало мягкую глину под дедовыми рука-

ми, в особенности когда прутик оставлял после себя извилистые узоры, – произвольное мальчишечье стремление положить первые несмелые тропинки в великую державу Умения, где нераздельно властвовал дед Родим.

Зюзь подстерег Сивоока, когда тот вылеживался в омуте. Пасясь на ходу, возвращался он с дальних лугов и еще издали заметил своего противника и, наверное, отомстил бы ему, если бы к своей ненависти добавил хотя бы капельку хитрости и подкрался бы незаметно. Но не такой был Зюзь, чтобы прибегать к хитрости. Он громко заржал издалека, ненавистно ударил копытами о траву и, выворачивая целые комья тяжелого дерна, полетел на Сивоока. Малый не ждал нападения, не готовился к отпору, но и не растерялся, зная, что спастись может только благодаря самому себе. Потому-то, не теряя зря времени, мигом выскочил из омута, попытался бежать в направлении к дедову подворью, но вовремя смекнул, что четыре конских ноги имеют огромное преимущество перед его маленькими двумя, поэтому бросился к ближайшему дереву, подпрыгнул, хватаясь за самую низкую ветку, и полез вверх на зеленую ольху, оставив Зюзя с его ненавистью и неутоленной мстостью.

И хотя на первый раз Зюзя постигла неудача, конь утвердился в своей ненависти и после этого случая упорно пасся возле ямы, так что малышу теперь не выпадало купаться, разве что водил его иногда к речке дед Родим, который сам не купался никогда, видимо, побаиваясь, чтобы берегини и

водяной не отняли у него силу и умение.

А Зюзь с каждым днем все больше зверел. Он решался даже на то, чтобы преследовать Сивоока уже на подворье. Пасся совсем близко, и как только малый появлялся во дворе, сразу же слышно было глухое гудение копыт и широкогрудый враг Сивоока появлялся, будто сонное видение; малыш успевал заскочить назад в хижину, скорее закрывал за собой двери, запирали их на крепкий дубовый засов, а конь подлетал с той стороны, становился на дыбы, бил копытами в дверь и уже не ржал, а рычал, будто дикий зверь: «Г-гы-гы-гы!»

Казалось, нет на свете силы, которая могла бы примирить коня с малым Сивооком. Не помогали и длительные перерывы в их странных отношениях, когда на зиму дед Родим прятал коня в теплую землянку и Сивоок мог видеть Зюзя лишь в дни охоты. И тогда, привыкший к отсутствию своего врага (а отсутствие давало надежду и на окончательное его устранение), оказываясь с ним снова с глаза на глаз, конь вновь разъярялся и, уже не пытаясь скрывать перед Родимом своей враждебности к малому, проявлял ее, как только мог, — неистово и бурно.

Захваченный своей враждой с конем, Сивоок не замечал множества событий и вещей, которые его окружали, и, возможно, только в дальнейшем будет он вспоминать время от времени тот первый сладкий восторг от широкого мира, который открылся перед ним еще тогда, когда он впервые под-

нялся над землей, взобравшись на дерево, чтобы спастись от крепких зубов Зюзя; или же внезапно вспыхнут в серой тоске повседневности яркие пятна, закружатся в бесконечном пестром танце – глаз не оторвешь (дед Родим растирает свои краски в круглых деревянных ложках с отломанными черенками); а то среди огромнейшего многолюдья вдруг окружают его непроходимые лесные чащи, земли без дорог, испещренные следами диких обитателей – нахально уверенными, несмелыми, пугливыми; и рыба, которую сам впервые вытряхнул из верши, и гнездо с желтоватыми птенцами, найденное в кустах, и черепаха, потерявшая яйцо на теплом песчаном пригорке над далекими болотами, и шум ветра, и крик мрачной ночной птицы-вестницы, и треск вскрывающегося льда на речке – все это будет навещать его в жизни то чаще, то реже, то будет еле ощутимо виднеться на окоемых снов, то будет греметь всевластно до звона в ушах, до слез в глазах, до щемящей боли в сердце.

А из людей вслед за дедом Родимом в жизнь Сивоока вплетается Ситник. Ситник – это копна светлых волос, бегущие глаза небесного цвета, жадный краснотубый рот, обильный пот на пухлом лице, крупный, неудержимый пот и в летний зной, и в зимнюю стужу.

Ситник привозил Родиму меды. Он знал толк в нелегком умении ситить это питье, высоко ценимое и князьями, и боярами, и пришлыми купцами, и мужественными воями, и простым людом. Родиму привозил он меды в жбанах, сделан-

ных самим дедом (Сивоок вельми удивлялся, что для себя дед не разрисовывал никакой посуды), небрежно выставлял их из лубяного возка возле хижины и, вытирая пот с лица, кричал:

– Эй, Родим, привез тебе добра! Кабы не для тебя, так и не трудился б. Но давнее мое почтение...

Родим молча выносил ему кусок серебра, бросал презрительно, Ситник ловил его, взвешивал на ладони, и Сивоок каждый раз все больше убеждался, что уважает Ситник все не деда, а эти куски тускло-белого металла. Не мог понять, как можно ставить металл выше человека, хотя со временем и сам перенимал от деда восхищение мягкими переливами цветов, а серебро, в особенности же в местах среза, давало такие неожиданно прекрасные переливы, что любоваться ими парень мог хоть и полдня. Даже золото не нравилось ему так, как серебро, ибо в золоте была какая-то скрытая чванливость, оно отливалось желтым – холодным и далеким – светом и напоминало этим неуловимость ночных огней на болотах и опушках. А серебро сияло ласково и мягко, будто подернутое легкими облаками летнее небо. Сивооку каждый раз становилось обидно, когда дед отдавал аккуратно обрубленный кусок серебра за такое, казалось бы, невкусное снадобье, как мед, прогорклый от трав и корней, заваренных хитрым Ситником, а еще не хотелось ему, чтобы этот красивый тускло-белый кусок ложился на пухлую (тоже потную) ладонь светловолосого Ситника.

Обладая незаурядным житейским опытом, Ситник довольно легко улавливал неприязнь к себе, поэтому неудивительно, что он по глазам малого прочел все, что у того было на душе, и с первого же раза начал изо всех сил склонять его на свою сторону. Делал он это на всякий случай, зная, что в жизни все пригодится, ведая хорошо, что лишний приятель, пусть пока и ребенок, всегда лучше, чем еще один враг, пусть самый ничтожный и бессильный.

Так и началось заигрывание Ситника с Сивооком в первый же проезд к ним потливого медовара.

– Ну, как называемся? – пристал он к малому.

– Не ведаю, – буркнул тот в ответ.

– Похож еси на своего деда Родима. Родим, как называется этот пострел?

Родим только и ждал этого вопроса, чтоб показать Ситнику свои покатые могучие плечи, а за ним и малый, по-медвежьи сутулясь, двинулся в хижину, оставляя растерянного Ситника с раскрытым от удивления ртом.

Но не таким был этот человек, чтобы отступить в задуманном. Уже в следующий раз он хитро шурился, выставляя из лубяного короба простенькие скудельные жбаны, и когда получил свое серебро и заметил сверкающий взгляд, которым малыш сопровождал полет белого обрубка с Родимовой руки в чужую ладонь, не таясь, засмеялся.

– А я уже знаю, что ты Сивоок. А что приبلудный – догадался сразу. Глаза у тебя не сивые, как нарек твой Родим, а

мутные, потому как пришел из безвестности. И кто ты еси, никто не ведает. Может, робичич?

На этот раз Ситнику пришлось наблюдать не покатые плечи Родима, повернутые к нему, а краткий взмах тяжелой десницы, которой Родим показывал медовару немедля убираться прочь. От купцов Ситник уже давно знал, что эта рука довольно быстро умеет браться за страшный меч, поэтому не стал мешкать и мгновенно погнал свою кобыленку со двора.

Но Ситник и после этого не переставал цепляться, хотя делал это хитрее и словно бы напрашивался на благорасположение.

Сивоок очень удивлялся деду Родиму, что тот выбрал для жительства такое хлопотное место у дороги, на самом краю удоля. Правда, тут была еще и река, и зеленые луга вдоль нее, зато в дальнем конце удоля начиналась пуца, где можно было бы спрятаться не только от Ситника, но и от всех надоедливых, нахальных, самоуверенных купцов, которые каждый раз так пренебрежительно смотрели на Родима, что сердце малыша вскипало гневом. Он уже тайком брался за дедов меч, пытался даже поднимать его, но еще и до сих пор не решался спросить у деда, почему бы ему не перебраться если не прямо в пуцу, то хотя бы на тот конец удоля, где бы его никто не нашел и где бы никто не причинял ему никаких хлопот.

Он тогда не знал еще, что как ни тяжело бывает иной раз среди людей, но нужно с ними жить, потому что без них ни-

как нельзя. И сам он со временем пойдет дальше и дальше в люди и попадет в такой водоворот, какой даже не снился всем его предкам до десятого колена, но это будет потом, а пока наибольшую радость испытывал он в те дни, когда они с дедом снимались со своего беспокойного конца удожья и углублялись на несколько дней в затаенный мир тысячелетней пущи.

На мокроземлях курчавились чернолозы, а за ними плотные ряды ольхи с замшелыми серо-зелеными стволами, лес словно бы проваливался к середине, земля под копытами Зюзя убегала вниз и вниз, деревья становились выше и выше, Сивооку становилось страшнее и страшнее, и он прижимался к спине Родима, посматривая вперед одним лишь глазом, ждал, когда же наконец выровняется лесная земля, когда исчезнет ее покатость, но лес проваливался все больше и больше; иногда он милостиво выпускал заплутавшихся ездовых на прогалины, перед ними открывалась могучая дубрава с полянами, изрытыми табунами вепрей, и гигантские дубы спокойно стояли вокруг, соединяя лес с небом, не давая лесу опускаться еще ниже, однако за дубравами вдруг расстилались зелено-ржавые топи, круто спускались вниз, в бултыхание таких непроходимых дебрей, где ни зверь не пробежит, ни птица не пролетит.

Самым же удивительным для Сивоока было чудо возвращения: как бы долго они ни странствовали в пуще, как бы низко и неуклонно ни проваливалась она перед глазами ма-

лого Сивоока, в конце концов получалось так, что они возвращались домой, на ту же самую заросшую чернолозами опушку, хотя ни разу не заметил он возвращения назад, вверх, к той исходной точке, с которой всегда начинался их спуск вниз. Это было непостижимое чудо. Всему можно было научиться: слушать голоса леса, чувствовать по следам и отметинам, где и когда какой зверь прошел, знать, где живут и гнездятся разные птицы, уметь стрелять из лука и бросать копье, свежевать пойманного зверя и печь на огне мясо, разводить костер и отгонять страх перед темной ночью и хищным оборотнем. Но он не в состоянии был постичь жутковато-необычного проваливания леса к середине, к глубине, бесконечного опускания, из которого, казалось, никогда не будет возвращения, однако возвращение наступало каждый раз просто, легко, так, будто пуца брала их на руки и незаметно выносила из своих дебрей, как бессильных, заблудившихся детей.

Все это чем-то напоминало Сивооку его препирательство с конем Зюзем. И здесь шла давняя, упорная и молчаливая борьба между отважно-настойчивым человеком и темной, неисходимой силой пуци, имевшей в себе деревья, воды, травы и, наверное же, множество богов, куда более сильных, могучих и хитрых, чем те, которых так умело делал дед Родим, главное же – богов еще неведомых, не раскрытых, таинственных и потому во сто крат более угрожающих.

Для Сивоока и то и другое зловеще переплеталось. Если

бы он мог сказать о своих страхах Родиму, быть может, он отогнал бы боязнь, но, приученный дедом к молчаливости, переносил свои страхи в одиночестве, не делаясь ими ни с кем, потому и должен был жить дальше, прислушиваясь к тому, как нарастает в нем тревога перед конем, без которого они с дедом не могли отправиться на охоту, и перед пущей, которая влекла и одновременно отпугивала своей непостижимостью.

И то ли уж детская душа тоньше настроена к звучанию предосторожностей, а Родимова очерствела от долгой жизни, то ли суровая закономерность бытия требовала, чтобы счастливое завершение всех приключений хотя бы раз уступило место концу несчастному, трудно теперь точно определить причину, однако непредотвратимое случилось.

Они преследовали раненого оленя. У оленя была стрела в бедре, далеко уйти он не мог и быстро бежать тоже, – видимо, не было у него сил, – но уже и у Зюзя вспотела шерсть и все тяжелее и тяжелее екала селезенка, а олень все не показывался, след его бегства Родим узнавал то по сломанной веточке, то по листику дерева, забрызганному кровью, то по удивительному следу трех копыт (раненую ногу олень, видимо, каждый раз приподнимал и на землю не ставил, чтобы не причинять себе излишней боли).

Олень спешил вниз, в самую глубину пущи, он забирался во все более запутанные чащобы, но, как это часто бывает в лесу, заросли внезапно расступились, и в лицо преследо-

вателям ударило гнилым запахом болот. Зюзь от неожиданности остановился, будто врытый в землю, так что всадники чуть было не перелетели через его гриву, но Родим ударил коня в подвздошь, гоня вперед, прямо на ядовито-зеленые купины, потому что впереди – совсем рукой подать, в двух конских прыжках от них – стоял раненый олень и смотрел на своих убийц глазами, в которых блуждала черная смерть.

Зюзь крутнулся туда и сюда, попробовал даже молча огрызнуться на Родима, словно это был малый Сивоок, но старик все-таки победил коня и послал его вперед, и тот, расстилаясь над землей в отчаяннейшем прыжке, рванулся к оленю, и в чреве у него екнуло что-то так тяжело и страшно, что Сивоок даже испугался, но, видимо, Родим первым услышал этот страшный звук, и все это происходило с такой молниеносной быстротой, что старик не успел даже крикнуть, а сумел лишь рвануть малого из-за своей спины и выброситься вместе с ним в сторону еще быстрее и стремительнее, чем Зюзь полетел в трясину.

Они упали одновременно на самом краю над химерно зыбким зеленым покровом, а в следующий миг почти рядом с ними Зюзь беззвучно прорвал тонкими ногами болотную зеленую шубу, не задержался ни на чем, мгновенно погрузился ногами в самую глубину и начал тонуть в густой тине, надувая живот, еще держась им на ненадежной поверхности, которая покачивалась под ним, разрывалась, выпускала из-под низу мутные струи грязи; топь вздыхала под конем,

булькала, пока он беспомощно барахтался ногами, надеясь опереться ими о что-нибудь твердое, и на отчаянную борьбу коня с черной засасывающей глубиной смотрели с одной стороны обескураженные люди, а с другой – недостижимый теперь олень.

Потому что им нужно было спасти коня. Нужно было спасти помощника и друга, а какой это верный и неизменный друг Родима, Сивоок понял по тому, как тяжело застонал старик, застонал отчаянно, как и конь, когда, побарахтавшись ногами и не выбравшись на купину, тот замер в надежде задержаться на поверхности, боясь еще больше расшатать ненадежную топь, но все равно погружался в болото, медленно, неотвратно, жутко.

Родим метнулся в перелесок, взмахнул широким своим мечом, срубил толстое молодое деревцо, бросил его Сивооку под ноги, и тот, не спрашивая, что и зачем, потянул деревцо к краю трясины. А Родим срубил еще одно, – кажется, это был дубок, – с удивительной для его тяжелого тела суетливостью подбежал совсем близко к коню, начал подсовывать дубок ему под брюхо. Дубок одним концом мягко вошел в тину; покачивая ствол, Родим подбирался все глубже и дальше под конское брюхо, но вот дубок выскользнул у него из рук, стал торчком, придавленный с одной стороны тяжестью коня; тогда Родим попытался опереть свой рычаг о положенное поперек, подсунутое Сивооком первое деревцо, и у него даже что-то вроде бы получилось, конский бок на миг вы-

рвался из вязкого плена, болото недовольно вздохнуло, выпуская свою добычу, но сразу же спохватилось и потащило эту добычу с еще большей силой. Конец дубка ушел из-под скользкого конского брюха, болото самодовольно чавкнуло, и Зюзь погрузился в топь еще глубже. Родим срубил еще более толстое деревцо, еще несколько раз возобновлял попытки высвободить своего верного товарища от смерти, но все напрасно. Коня затагивало глубже и глубже, Родиму не удалось вырвать его хотя бы на ладонь из засасывающих тисков болота, уже только узкая полоса спины серела над грязной жижицей трясины, и конь, видимо, знал о своем конце и смотрел на своего хозяина не умоляюще, а скорее прощально, и не ржал, требуя помощи, а только подбрасывал голову и перепуганно вскрикивал: «Г-ги! Ги-ги!»

Тогда Родим, не боясь трясины, отважно подошел совсем вплотную к коню и одним взмахом своего страшного меча отрубил ему голову.

Сивоок повернулся и что было сил бросился в чащу. Убегал от смерти, которая предстала перед ним сразу в стольких ужасных обликах, и не знал, что в бегстве своем попадет на новую смерть, еще более страшную, хотя и странно отыскивать оттенки у смерти.

За те несколько счастливых лет, что он прожил с Родимом, Сивоок заимствовал от старика одно только добро, научился полезному, знал лишь чувства, которые возвышают человека над миром, не ведал унижений, неправды, лукавства,

зависти, испуг видел лишь у тех, кто пробовал нападать на Родима, сам же старик ни разу не проявил хотя бы капельку страха, даже во время летних, яростно клокочущих гроз, когда Перун низвергал на землю огненные молнии, даже когда настигали их в пуще неистовые бури и гудели боры и дубравы, и ломались, как щепки, столетние деревья, заваливая им дорогу, угрожая смертью.

Но вот пришла ночь, когда Сивооку суждено было увидеть испуг на суровом лице Родима, хотя это была тихая ночь, без грозы, без бури, хотя были они не в далекой дороге, а в своей хижине, в укрытии от всего злого, со своими добрыми богами.

Родим испугался темного обоза, подъехавшего по дороге и остановившегося возле их двора. Несколько повозок, несколько всадников, возможно, даже вооруженных, как это принято было у купцов, которые не решались пускаться в опасные странствия без надежной охраны. Сколько уже таких купеческих обозов помнил Сивоок, а старый Родим знал их за свою долгую жизнь в тысячу раз больше, – так почему же он так встревожился, почему поскорее затолкал малыша в хижину, сам вскочил за ним, схватил его на руки, посадил к сетке, прикрывавшей дымовое отверстие над горном, немного приподнял ее и шепотом велел: «Спрячься и нишкни!»

Сивоок пристроился у самого края сетки, чтобы видеть все, что будет происходить внизу: не послушать Родима он не мог, потому что впервые видел его словно бы испуганным

и впервые тот произнес сразу аж два слова, да еще тогда, когда, казалось, не было необходимости в словах, детская душа предчувствовала что-то необычное, наверное, интересное, — для малыша все, что происходит вокруг, всегда является прежде всего зрелищем, если не затрагивает его самого и не втягивает в водоворот событий, теперь же он и тем более превращался в наблюдателя, а обеспокоенность деда подсказывала парнишке, что он будет иметь незаурядное развлечение.

Сивооку было чуточку не по себе из-за обеспокоенности Родима и из-за его тревожных слов, однако парнишка старался отодвинуть холодок, закравшийся в сердце, как можно дальше, растопить его горячей волной любознательности.

Однако холодок залил ему всю грудь и подошел к горлу, как только в хижине появился неизвестный пришелец.

Глиняный каганец с двумя фитильками светил так, что видно было только двери и небольшое пространство возле них, а все остальное утопало в темноте. Родим время от времени скрывался в темноте, он всегда так делал, чтобы ошеломить пришельца, проверить, кто он и что, желанный или незванный, простой странник или забияка. Но сегодня темнота, в которой прятался Родим, словно сократилась наполовину, одна ее часть осталась на привычном месте, а другая, тяжело провиснув, заполнила полукруг, освещаемый каганцом. Сначала Сивоок не мог понять, что случилось, лишь через миг понял: темнота, окутавшая Родима, точно так же на-

дежно лежит вокруг него, а та, другая темнота, которая возникла возле дверей, вползла в хижину вместе с огромной фигурой чужака. Постепенно вырисовывалось его потемневшее, будто старое дерево, лицо; из-под странной шапки, похожей на черный пень, выбивались длинные черные волосы, спускавшиеся космами на плечи; одет пришелец был в длинную, тянущуюся по земле, широкую и тоже непроглядно темную одежду, какой Сивооку раньше не приходилось видеть. Единственное светлое пятно было на зловеще темной фигуре, и к этому пятну непроизвольно приковался взгляд малыша, потому что он узнал в том тускловатом блеске сияние серебра и был очень удивлен, что незнакомец таким необычным способом приладил свое наличное сокровище.

Купцы ведь носили серебро на шее, похваляясь хитро сделанными гривнами-чепами, имевшими вид то заморских гадов, то пардусов с неправдоподобно вытянутыми телами, то соблазнительных обнаженных женщин с телами гибкими, как хмель. Носили они также перстни с печатями и всякие браслеты у запястий – это все, чтобы похвастать богатством, показать, как богатство превращается в красоту. Для расчетов они всегда имели серебро в кожаных кисетах – в одних просто нарубки разных размеров, в других – монеты, остроугольные и круглые, с какими-то таинственными знаками и изображениями чужих властителей. Все это он видел у купцов. А черный пришелец взял два больших куска серебра, скрепил их накрест и повесил на грудь среди черноты своей

странной и, казалось, неудобной одежды. Зачем и почему?

Только войдя в хижину и еще, наверное, ничего не рассмотрев в ней, незнакомец тотчас же махнул широченным рукавом, схватил костлявой рукой свой серебряный крест, высоко вознес его перед собой, махнул туда и сюда, и Сивоок лишь теперь заметил, что серебряное перекрестье висело на шее у чужака на длинной, тонкой, тоже, вероятно, серебряной цепочке.

– Не прячься в темноте, подойди к кресту Божьему и удостойся, – обращаясь к Родиму, произнес незнакомец громким торжественным голосом и снова помахал своим серебряным орудием; и Сивоок впервые в своей жизни услышал слово «крест» и связал его звучание с изображением. За спиной у черного пришельца появилось несколько вооруженных сильных людей. Они остановились друг возле друга, молчали, не выдвигались вперед.

И Родим тоже не выступал им навстречу, ничего не говорил, не откликался, не выдавал себя ни малейшим движением.

– Ведомо тебе хорошо, что светлейший князь наш привел народ русский к настоящему Богу нашему – Иисусу Христу, – продолжал тот, который с крестом, и Сивоок вельми удивился, что бога своего он называет тем же самым словом, что и склепанные накрест две серебряные пластинки. – Ты же, недостойный, сам не ведая, что творишь, размножаешь языческих идолов, чем вносишь сумятицу и смуту в души

христианские.

– То наши боги, – внезапно прозвучал из темноты Родимов голос, и Сивоок чуть было не упал из своего укрытия. Родим отвечал, Родим включался в перебранку!

– Не суть то боги, – терпеливо продолжал свое черный с крестом, – но глина, скудел: нынче есть, а наутро рассыплется в прах. Потому как не едят, не пьют, не молвят, но суть сделаны руками в глине, а Бог есть единый, ему же служат и поклоняются и за морем, и по нашей земле, поелику он сотворил небо, и землю, и месяц, и солнце, и человека и дал ему жить на земле. А сии боги что сотворили?

И рукой, свободной от креста, он указал в тот угол, где, сложенные на деревянных лавках и полках, лежали действительно глиняные, но такие прекрасные от умения Родима стрибоги, перуны, ярилы, световиды, боги небес, вод, зеленых трав и буйных лесов, единственные боги, которых знал до сих пор Сивоок, – добрые, ласковые боги, не нуждавшиеся в таких черных и страшных пришельцах, поддерживаемых зловещей стражей.

– Ибо сказал Христос: «Идите и научайте все народы!» – воскликнул черный. – И уничтожено будет все, что противится...

Подобно черному ворону, высмотрел в темноте, где лежали Родимовы боги. То ли был наделен от своего Христа даром, то ли имел необычайно наметанный глаз на все, что плохо лежит, или же просто кто-то заранее наговорил ему,

подсказал?

Как бы там ни было, а только мрачный пришелец, выкрикивая свои слова об уничтожении, направился сразу же в угол, где хранилось все самое для Родима дорогое, созданное его трудом, умением, а в особенности же – верой, унаследованной от предков, которые еще и из могил управляли всем живущим, направляли их действия и души. Черный запутался в длинном своем балахоне – пока он сумел сделать один шаг, его сообщники, видать, поднаторенные в подобных делах, мигом сыпанули с двух сторон, заметались по хижине, ломая, калеча, уничтожая все на своем пути.

– Не тронь! – страшным голосом крикнул Родим и с неистовством рванулся к черному, заноса свой широкий меч, заноса не внезапно, как тогда, когда защищался от назойливых купцов-пришельцев, а словно бы намереваясь лишь отпугнуть обидчиков, заставляя их опомниться, отступить, пока не поздно. Однако намерение Родима оказалось пагубным. Еще не успела рука его поднять меч вверх, еще медленно двигалась она, описывая большую дугу, как вдруг сзади, не замеченный ни Родимом, ни даже Сивооком, который, казалось, не выпускал из поля зрения ничего, что происходило внизу, сверкнул меч коротко и зловеще, и Сивоок с ужасом увидел, как правая рука Родима, будто в кошмарном видении, отделилась от тела и вместе с мечом безжизненно упала на землю. Тотчас же сзади и с боков набежало еще несколько страшных пришельцев, сверкнули мечи, под-

нялась суматоха, а когда все рассыпались по сторонам, Родима не было, лишь темнело что-то на полу, огромное и неподвижное.

Больше Сивоок не видел ничего – не стал смотреть. Он бросился в самый отдаленный угол чердака, в диком испуге рвал крышу, пока пробился наружу, не колеблясь прыгнул на землю и помчался через урочище туда, где темно возвышалась таинственная и спасительная пуща.

Продирался сквозь кусты, бежал мимо высоких деревьев, проскакивал через поляны, не знал усталости, забыл об отдыхе, бежал, сам не ведая куда, только звучало в нем одно-единственное слово: «Родим, Родим, Родим», да еще вырывались иногда сухими всхлипываниями отчаяннейшие рыдания, раздиравшие ему грудь. Он бежал так до самого утра, не мог замедлить бег, не мог задержаться, не было на свете силы, которая могла бы его остановить, и вот так выбежал на опушку, и в лицо ему ударило духом гнили, и обманчиво зеленые топи глянули ему в глаза, а у самого края трясины, в зарослях жирной болотной травы, скалились огромные желтоватые зубы. Он остановился с полного разбега, так резко, что даже покачнулся вперед, туда, откуда насмешливо смотрела на него черными пустыми глазницами неправдоподобно бледная конская голова и щерила зубы, будто сама смерть.

Он узнал это место, мгновенно вспомнил все, что было, вспомнил оленя и предсмертный прыжок коня, вспомнил де-

да Родима, как он боролся за жизнь коня, а потом взмахнул мечом... взмахнул мечом... взмахнул мечом...

Круто повернувшись, Сивоок побежал назад. От смерти к смерти. В безвыходном кольце.

Он очень хорошо знал эту пушу с ее непрерывным спусканием вниз, знал, что, сколько ни кружи по ней, рано или поздно выбросит она тебя из своей таинственности и очутишься ты там, откуда начинал свои странствия, откуда вступал в торжественное царство леса. Так и Сивоок, после многодневных блужданий по лесу, голодных, изнурительных и безнадежных, наконец очутился на опушке, от которой тянулось такое знакомое и такое ненавистное теперь удолье.

Ему некуда было податься, поэтому и пошел он понизу, вдоль удолья, и вскоре уже был возле двора Родима, возле первого в своей жизни дома, который знал и помнил. Возле своего и не своего...

Приближался осторожно, с опаской, подкрадывался от куста к кусту, подолгу выжидал, осматривался по сторонам. Замер, когда увидел во дворе коня, запряженного в воз. Долго ждал, не появятся ли люди, но, так и не дождавшись, снова тронулся вперед, теперь еще осторожнее. Посмелел только тогда, когда узнал и коня, и возок: принадлежали они Ситнику. Сам Ситник, видимо, был в хижине, почему-то долго не показывался, и это поселило в сердце Сивоока слабую надежду: а что, если дед Родим живой? Изрубленный, израненный, но живой! И они и дальше будут жить в этой доброй

хижине, и он будет помогать деду месить глину и разрисовывать кувшины и богов и научиться торговаться с купцами, а потом будет сам ходить на охоту.

Он еще немного подождал и бегом бросился в хижину. Не было там никого и ничего. Все изломано, уничтожено. Но в кладовке слышен был гомон. Сивоок прыгнул туда, с трудом сдерживая крик. Родим, Родим! Ударился о мягкое, схватил его кто-то за руку, крепко стиснул, вытащил из чулана – Ситник! Весь вспотевший и словно бы растерянный.

– А тебя не забрали? – удивился Ситник.

– Дед Родим! Где дед? – выкручиваясь из его руки, крикнул Сивоок.

– Ого, крепкий парнище! – выкрикнул медовар. – Вырвался, стало быть, и от них.

– Где Родим? – повторял свое Сивоок.

– И бежал, стало быть? Где же ты столько блуждал?

– Где Родим?

– Похоронили Родима.

– Как! – Парнишка не мог постичь всего ужаса этого слова – «похоронили».

– Не так, как было когда-то. Обычай у нас был класть покойнику в могилу одежду, оружие, драгоценности. Жертвы приносили к огню, на котором сжигали умерших. А новая вера иная. Христиане хоронят своих голыми и убогими, потому как они идут в Царствие Небесное, Где их и оденут, и накормят, и напоят. Вот так и Родима твоего, который под

крестом побыл, похоронили без ничего, а все, что у него было, роздали во славу Божию да в пользу людскую.

– Он погиб под крестом, – заплакал Сивоок, и этим сразу же воспользовался Ситник, снова схватил хлопца за руку и поволок во двор, к возку.

– Погиб ли, родился ли под крестом – все христианин, – пробормотал он, – а раз ты видел тот крест, то, стало быть, и ты христианин, буду иметь христианского работника, хвала богам древним и новым и всем вместе.

Но парнишка не слышал бормотания Ситника и, руководимый неосознанным стремлением к воле, снова крутнулся, чтоб вырваться, но когда это не помогло, изо всех сил так толкнул Ситника, что тот попятился назад и раскоряченно сел на землю, в то время как Сивоок уже бежал со двора.

– Да постой, дурень! – крикнул ему вдогонку Ситник – Пропадешь же в лесу! Повезу тебя – хоть накормлю. Хлеба дам и мяса. Будешь у меня сыном родным. Слышишь или нет?

Из всего сказанного до сознания Сивоока дошли только два слова, «хлеб» и «мясо». Они напомнили ему о том, что где-то на свете есть пища и есть люди, утоляющие голод едой и питьем, тогда как дед Родим лежит в сырой земле голый и убогий, а сам он, убитый горем, слоняется, умирая от голода.

Парнишка остановился и посмотрел на Ситника. Не врет ли он?

– Ну, иди сюда, иди, – звал тот. – Садись ко мне да поедем

в село. Увидишь мою Величку. Она тоже обрадуется. Такая у меня доченька есть маленькая. Иди-ка поскорее!

Сивоок медленно приблизился к возку, оттолкнул протянутую к нему руку Ситника, сам залез в лубяной кузов, сел так, чтобы иметь возможность в любой момент спрыгнуть и броситься наутек. Ситник дернул за вожжи, лошадка медленно тронулась, двор Родима оставался позади, навсегда оставался.

Но не погиб бесследно дикий нрав Родимов! Упал он сочной краской на чистую поверхность детской души и навеки закрепился там, как неистребимо остаются краски на глине, обцелованной жгучим огнем.

Не усидел Сивоок долго в кузове, соскучился, снова отбежал от Ситника, встал – неприрученный, упрямый, своеправный.

– Где Родим? – закричал.

– Ну, сказал же, сказал, – останавливая лошадь, вытирал пот с лица Ситник. – Нет его, мертвый, сгинул.

– Где он? – упрямо допытывался хлопец.

– Хочешь видеть могилу? Ну, ежели ты такой, то...

Ситник привязал коня, пошел вразвалочку назад по дороге, Сивоок – за ним, недоверчиво держась поодаль.

Ниже двора, где дорога делала изгиб, на молодой травке возвышался небольшой горбик, и с той стороны бугорка, которая была ближе к хижине, торчало из земли деревянное подобие того серебряного креста, которым размахивал чер-

ный пришелец в ночь убийства Родима. Почему дед должен был лежать под этим знаком его убийства? Сивоок с разгона ударил плечом в мертвое дерево, стараясь вывернуть его из земли, чтобы потом истоптать, утащить отсюда куда глаза глядят, сжечь, пустить по течению – да мало ли что!

Но крест даже не пошатнулся. Сделанный из двух дубовых толстенных брусьев, скрепленных намертво хитрым деревянным замком, он был закопан, видно, еще глубже, чем прах покойника, и должен был стоять у дороги долго-предолго, чтобы каждый, кто будет ехать, не миновал его своим взглядом и смирялся от созерцания чужой смерти.

И Сивоок, словно бы чувствуя, что отныне его жизнь тоже будет обозначаться такими вот крестами и спастись от них он не сможет точно так же, как не сможет столкнуть знак смерти Родима, в бессильной ярости стал бить кулачками по мертвому дереву, плакал, не вытирая слез, и до полнейшего истощения сил все бил, бил, бил.

Только здесь Ситник наконец смог сгрести мальчишку и потащить к своему возку, одной рукой крепко держа его, а другой вытирая бороду и усы, заливаемые потом. У Сивоока уже не было сил упираться.

Ни в тот день, ни впоследствии он не мог признаться самому себе, хотя и не мог утаить удивительно жестокой правды: смерть Родима открыла перед ним мир намного более широкий, чем он видел его до сих пор. Позади все начиналось чернотой на вязкой дороге, беспомощным криком ма-

ленького мальчика во тьме, добрыми руками старика, потом были двор, глина, краски, огонь, был конь Зюзь, была пуща, сначала словно бы безграничная и всемогущая, но со временем оказалось – замкнутая в своей повторяемости, доступная для познания. Будучи еще совсем маленьким, Сивоок незаметно усвоил в том мире все нужное для того, чтобы жить без лишних тревог и неопределенности, свыкался с мыслью, что всегда будет ходить по тем же самым тропинкам, возле тех же самых деревьев, будет сидеть у того же самого очага, будет смотреть на ту же самую дорогу.

И вот теперь словно бы раздвинулись перед ним горизонты, и он увидел сразу так много, что не мог этого ни умом постичь, ни взглядом охватить.

Их возок выкатился на возвышение; позади, в удолье, чуть видимый, оставался двор Родима, а с другой стороны на покато́м спуске, открытом во все стороны вольному, пахучему от трав и еще каких-то неведомых Сивооку растений ветру, чья-то добрая и могучая рука разбросала много-много строений, наверное, людских жилищ, но внешне намного более приветливых и веселых, чем привычная для него хижина Родима, которую хлопец до сих пор считал единственно возможной для жизни людей.

Сивоок смотрел вниз неотрывно, слезы в его глазах высохли от восторженного огня, который разгорался там все ярче и ярче. Ситник заметил возбужденность парнишки, но подождал еще малость и только потом небрежно спросил:

– Так как? Красиво здесь?

Сивоок вздохнул, но ничего не ответил.

– Никогда не был? Не видел?

Снова последовал лишь вздох, то ли сокрушенный, то ли жалостливый.

– Не показывал тебе Родим? Только в пущу водил? А света не только в пуще.

Сивоок уже не вздыхал. Прикусил губу. Он был растерян. Должен был ненавидеть этот прекрасный мир за то, что свои великолепия раскрывает только после того, как заплачено самой высокой платой – смертью единственного дорогого тебе человека. Но уже поселилась в его неискушенной детской душе способность восторгаться всем прекрасным, и способностью этой наделил его Родим, молчаливый, щедрый, добрый дед Родим, у которого красота пела под руками.

Ситник знал толк в людях. Мало уметь цедить да ситить меда – надо их еще и продать тому да другому. А продаешь – умей видеть, кто может заплатить ногату, кто даст гадкую скору, а кто и кусок серебра. Мед-то ведь любят все, а платить не каждый одинаково способен. Вот и угадывай. У Ситника глаз был меток, как хищная рыба. Раз-два – и готово! Заметил он, как притих Сивоок. Дикое дитя. Впервые увидело простор.

– Лепо! – спросил Ситник, уловив подходящую минуту.

– Да, – шепотом ответил Сивоок.

– Ольховатка, – объяснил Ситник, – село так наречено.

Много люду. А мы вон там.

Он показал на холм у дороги, немного в стороне от села. И снова должен был удивляться Сивоок. Он привык, что двор Родима открыт всем ветрам, а тут бросался в глаза дубовый частокол, цепко окружавший усадьбу на самом верху пригорка, скрывавший от постороннего глаза строения, людей и жизнь в ней. Сивоок шевельнулся в возке, еще не ведая, что сделает в следующую минуту, потому что шевельнулось в его душе предчувствие чего-то страшного, но он еще не научился справляться с предчувствиями, зато Ситник, все время опасавшийся возможных выходов со стороны малого, мгновенно уловил перемену в настроении своего пленника и, для большей уверенности придерживая его рукой, пробормотал:

– Тебе там приглянется.

Тем временем они подъехали прямо к частоколу, и Сивоок мог теперь оценить прочность ограждения. Дубовые бревна, вкопанные в землю намертво, как тот крест на могиле Родима, стояли так плотно, что не просунешь даже шило между ними. Узенькая дорожка, оторвавшись от шляха, взбиралась на пригорок и упиралась прямо в кольцо частокола, а там Сивоок увидел нечто похожее на двое дверей, только намного более высоких и крепких; эти двери в частоколе тоже сбиты были из дубовых бревен и держались невесть как.

– Эгей! – крикнул Ситник. – Тюха! Спишь, что ли! Отворяй ворота!

За дубовыми воротами застучало-загремело, они посре-

дине чуточку разъехались, образовалась щель, сквозь которую блеснул испуганный глаз и сразу же скрылся, а ворота с тяжелым скрипом поехали в разные стороны. Какая-то невзрачная, забитая фигура метнулась между двумя половинками ворот, подскочила к лошади, схватила ее за уздечку, потянула куда-то в сторону. Ситник рывкнул на перепуганного человека, тот отпустил лошадь, снова метнулся назад, принялся закрывать ворота, снова застучало-заскрипело, широкий выруб в частоколе стал сужаться, и быстро сужался видимый сквозь это отверстие мир: далекая, равнодушная ко всему пуща. раздольные поля, извилистая речка среди этих полей, накатанная дорога, дикие травы и цветы, подступавшие прямо к воротам, и небо над всем, много широкого неба, прозрачно-голубого, как глаза у Ситника. И все сужалось, сужалось до тех пор, пока ворота стукнули, упали на них тяжелые запоры, и все исчезло; только в глазах у Ситника должны были еще остаться два кусочка высокого неба, того, которое летело над недостижимыми остриями частокола. Но когда Сивоок глянул на Ситника, глаза у того были бесцветные, будто у хищной птицы.

– Ага, так! – сказал Ситник, и трудно было понять, что выражало это краткое восклицание – простое удовлетворение или скрытую угрозу. Сивоок пожалел, что не удрал от Ситника до того, как попасть за этот непроницаемый частокол. Все-таки было бы надежнее.

А тем временем наметанный на все необычное глаз маль-

чика блуждал по подворью и отмечал то большое красивое строение с выбеленными стенами, которое нельзя было и называть хижинкой – так резко отличалось оно от бедной халупы Родима, – а еще была там же и настоящая хижина, только немного более убогая, чем та, в которой вырос Сивоок, и начисто ободранная; стояло несколько прочных деревянных строений без окон, таинственных, будто человеческое лицо без глаз, в одном углу лежали толстые бревна, в другом возвышалась гора дров, еще дальше, на разровненных полосках земли, росли какие-то удивительные злаки, видимо, ухоженные людскими руками, потому что земля там чернела точно так же, как на лесных полянах, изрытых вепрями в поисках желудей, а не лежала, прикрытая толстым слоем дерна, как во дворе у деда Родима. Все здесь было необычным, привлекательным и одновременно пугающим, если принять во внимание то, что ты отрезан от всего света непроницаемой стеной дубовых кольев.

Но Сивоок забыл о своем невольном страхе, и о своей несвободе, и о зловещем скрипе ворот, и о необычности двора, забыл, увидев, как полетело им навстречу что-то совершенно невиданное, как рассыпало звонкий смех, запрыгало, захлопало в ладошки, закричало:

– Тятя, тятя!

Бежало прямо к Ситнику, нацеливалось в его раскрытые объятия тоненькое, длинноногое, в белой льняной рубашечке, с длинными, ослепительно сверкающими волосами, с гла-

зами большими и такими голубыми, что сам дед Родим не подобрал бы под них краску.

– Видишь, приехал твой отец, доченька, – с неожиданной для него мягкостью заворковал Ситник, от удовольствия истекая потом и обнимая удивительное создание, впервые увиденное Сивооком, – да еще и привез тебе. Вот погляди.

Он дернул Сивоока, и тот не стал упираться, послушно вышел наперед и очутился лицом к лицу с этим чудом. И так они смотрели друг на друга, а Ситник самодовольно улыбался, а потом, крикнув что-то на своего несчастного забитого Тюху, побрел к одному из строений, оставив детей посреди двора.

– Ты кто? – хриплым голосом спросил Сивоок, первым придя в себя по праву старшего (он был на целую голову выше девочки).

– Величка, – прозвенело в ответ. – А ты?

Он немного подумал, прилично ли так вот сразу открываться перед этой Величкой, но не удержался и сказал:

– Сивоок.

– Почему так называешься? – любопытствовала Величка.

– Не знаю. А ты почему?

– Потому что я девочка, а у девочки должно быть красивое имя.

– А что такое девочка? – спросил Сивоок.

– Как это что? Я... Разве ты не знал?

– Не знал.

– И никогда не видел девочку?

– Не видел.

– А кого же ты видел?

– Деда Родима. Да купцов. Да еще Ситника.

– Ситник – это мой отец.

– А мне все равно.

– Мой отец лучше всех на свете.

– Лучше всех – дед Родим.

Это заинтересовало девочку.

– А где он?

– Нет.

– Так почему же он самый лучший, если его нет?

– Был – его убили.

– Знаешь что? – сказала Величка, наверное, ничего не поняв из мрачной истории Сивоока. – Хочешь, я покажу тебе мак?

– А зачем он мне? – небрежно промолвил Сивоок, хотя ни сном ни духом не ведал, что это такое.

– Отец варит с ним меды, – объяснила девочка, – самые крепкие и самые дорогие. А я люблю, как он цветет. Ты видел, как цветет мак?

– Я все видел, – отважно соврал Сивоок, с трудом удерживаясь от искушения протянуть руку и потрогать волосы Велички: настоящие они, живые или, возможно, сделанные из каких-нибудь заморских нитей, как у некоторых купцов

вытканы корзна, сверкающие на солнце и даже в сумерках?

Мак оказался красным, и лепестки у него были тоже словно бы ненастоящие, словно вырезанные из нежной заморской ткани и прицепленные к зеленому стеблю.

– Я знаю лучшие цветы, – сказал Сивоок, – в самой дальней пуще, среди красных боров растет высокий синий цветок. Величиной с тебя.

– А почему боры красные? – спросила девочка.

– Потому что веток там не видно, они где-то далеко-далеко вверху, а видны только стволы, и кора на них от долголетия покраснела.

– А разве может быть цветок такой величины, как я? – снова не поверила девочка.

– Хочешь, я принесу тебе?

– А хочу.

– Ну ладно.

Но пришел Ситник, молча дернул Сивоока за руку и повел за собой.

– Приходи! – крикнула Величка, а он не знал: оглянуться на девочку или вырваться от Ситника и снова побежать к ней.

Ситник привел хлопца в ту запыленную, грязную клетушку, толкнул к покореженной толстой доске, которая должна была служить вместо стола, буркнул:

– Ешь! Тут будешь жить с Тюхой.

Взлохмаченный Тюха, испуганно поглядывая, сидел на

другом конце стола и хлебал деревянной ложкой какую-то мутную бурду. Сивоок мрачно взглянул на Ситника:

– Хочу мяса.

– Вон как! – засмеялся Ситник, сбрасывая с себя веселье, как гадюка старую кожу. – А ну, Тюха, дай ему мяса!

Тюха послушно метнулся к хлопцу, наклонился, чтобы схватить своими цепкими клешнями, но Сивоок юрко увернулся от него, толкнул Ситникова приспешника так, что тот еле устоял на ногах, а сам помчался к двери. Однако Ситник уже знал норы малого и еще быстрее выскочил за дверь, закрыл ее перед самым носом Сивоока, захохотал снаружи:

– Вот тебе мясо! Я еще не так возьмусь за тебя!

Сивоок оглянулся. Одно-единственное окошко, затянутое пленкой пузыря, было таким маленьким, что только руку просунешь. Стоял, тяжело дыша.

– Ну чего ты? – пробормотал Тюха, снова принимаясь за похлебку. – Подчиняйся. Нужно.

Хлопец молчал. Только теперь он понял, как попался Ситнику в лапы; пришло первое осознание силы, доставшейся ему в наследство от Родима, но одновременно почувствовал и недостаток силы для того, чтобы бороться с таким, как Ситник.

Он лег спать, не прикоснувшись к еде, а когда на следующий день на рассвете Тюха начал будить его, чтобы приучать к работе по хозяйству, Сивоок так куснул его за мохнатую лапу, что тот взвыл по-волчьи и побежал жаловаться хозяи-

ну. Ситник велел не трогать малого. Хорошо знал, что голод и безвыходное положение сделают свое. Сивоок долго лежал в клетушке, потом, когда солнце уже хорошенько поднялось, вышел во двор. Хотелось пить, хотелось есть, а более всего хотелось взлететь на частокол и унести куда глаза глядят. Набрел на колодец, достал деревянным ведром воды, напился. Еще в момент питья почувствовал, что за спиной у него кто-то стоит. Но не подал виду. Поставил ведро, вытер губы тыльной стороной ладони, как это делал всегда Родим, только после этого оглянулся. Позади него стояла Величка. Такая же, как и вчера. А может, еще лучше и нежнее.

– Ну, где же твой цветок? – спросила она.

Сивоок молчал, исподлобья поглядывая на девочку.

– Или соврал? – допытывалась Величка.

– Есть хочу, – мрачно произнес Сивоок.

– Почему же не наешься?

– Ситник не дает.

– Неправда, мой отец добрый. Он – самый добрый.

– Может, и так. А меня запер в клетки и не дал ни хлеба,

ни мяса.

– Хочешь, я спрошу у него, почему он так сделал?

– Не хочу. Не нужно.

– А хочешь, я принесу тебе мяса и хлеба?

– Нет.

– Но ты же хочешь есть.

– Ну и что?

– Ну, так я принесу тебе.

– Не нужно.

Величка немного подумала. Никак не могла понять, как это так: хочет есть и не хочет, чтобы ему принесли.

– Ты боишься моего отца? – наконец догадалась девочка.

– Я никого не боюсь.

Она еще подумала. Нелегкая выпала работа для ее маленькой головки. Однако не зря же она была дочерью Ситника, не раз и не два видела, как обменивает отец свои напитки на всякие вещи.

– Знаешь, как мы сделаем, – предложила она. – Я принесу тебе хлеба и мяса, а ты принесешь мне свой цветок. Согласен?

– Цветок не мой, – еще больше помрачнел Сивоок.

– Но ведь ты вчера говорил, что знаешь, где он растет.

– Знаю.

– Вот и принеси.

– Принесу. Сказал – принесу, значит, принесу.

– Подожди меня вон там, за кладовкой, чтобы не видел отец, я скоро приду, – сказала она и, побаиваясь, что Сивоок снова начнет отказываться, быстро побежала от него.

Так за спиной Ситника возник маленький заговор. Пока тот ждал, что Сивоока сломит голод, Величка подкармливала хлопца, малый лакомился хлебами ее отца – ржаными и просеянными, пробовал его копчения, запивал на диво вкусной водой из колодца и потихоньку присматривался, как вы-

браться на волю. Одна из рубленых деревянных кладовок стояла совсем вплотную к частоколу, и Сивоок сообразил, что если взобраться на крышу, а оттуда положить на верх частокола доску, то можно бы и попробовать. О том, как он будет добираться на той стороне до земли, не думалось. Полетит – и все. Вниз летать он умел, это не то что вверх.

Ночью, когда Тюха захрапел в своем логове, Сивоок украдкой вышел из клетушки, нашел припасенный еще днем горбыль, потащил его к амбару. Но на крышу с горбылем никак не мог взобраться. Долго мучился, пока не догадался принести из клетушки веревку, и, привязав один ее конец к горбылю, а другой затиснув в зубах, умело начал взбираться на кладовку – ему очень помогла привычка лазить по деревьям, даже когда на стволе не было внизу ни одной веточки или сучка. Потом выудил из тьмы свою перекладину, приладил ее так, как заранее обдумал, и полез к двум остриям, которые были чернее самой ночи. Ухватился за них сразу обеими руками, лишь на миг задержался, изгибая спину и пружиня ноги, легко оттолкнулся и бесстрашно полетел вниз, в притаившуюся черноту, дышавшую на него свободой.

Земля твердо ударила Сивоока, ему до слез больно стало во всем теле, но у него не было времени для того, чтобы стонать и плакать, – скрюченный, с трудом пересиливая боль, покатился он по склону вниз да вниз, а там вскочил на ноги и побежал, лишь чутьем угадывая направление.

Так он снова очутился в пуще.

Теперь, после смерти Родима, лес мог бы служить Сивооку домом. Только тут все было знакомым и привычным, только тут хлопец хорошо знал, против кого можно драться, а от кого незаметно скрыться, отдавая должное его перевесу, а там, на равнине, над которой возвышался частокол Ситника, все было иначе, все было запутанным и враждебным; как вести себя в поле среди людей, дед Родим не научил его, – видно, не хотел, чтобы Сивоок и попадал туда, потому что ни единого разу хотя бы намеком не дал ему понять, что где-то люди живут не так, как они, и что не все на свете такие, как он сам, Родим.

Впервые шагнул Сивоок под деревья без боязни, охотно шел туда, куда затягивала его всевластная пуца, снова совершал привычное путешествие вниз да вниз, направляясь в самое сердце леса и будучи уверенным, что все произойдет так, как всегда, добрые боги пуци лишь попугают его, лишь поведут да покружат по зеленой безбрежности, а потом выпустят на волю, незаметно выведут на ту опушку, откуда он всегда начинал свои блуждания.

Но, видать, мудрые боги древнего леса знали, что на этот раз Сивооку некуда торопиться, что не ждет его никто, а если и ждет, так только беда, поэтому они были милостивы к хлопцу и впервые пропустили его в самое сердце пуци, в неприступнейшие чащи, за которыми лежали бесконечные поляны с такими сочными, как нигде на свете, травами и тихие озера, где строили свои причудливые жилища пушистые

бобры и разноперые птицы. Там был дивный простор, открывавшийся за зарослями вмиг, внезапно, ошеломляя своей неповторимостью. Мелкие перелески не задерживали взора, а большие деревья, разбросанные живописными купами то тут, то там, еще словно бы увеличивали и без того огромные просторы полян, соединяя их в бесконечный гигантский ряд.

Тут уже наконец пуца не проваливалась вниз, она лежала ровно, она успокоилась в своей неприступности, и если бы Сивоок начал присматриваться, он заметил бы, что отсюда во все стороны лес расходится словно бы вверх. То, что он всегда стремился увидеть, само давалось ему, но теперь хлопец забыл о своих давнишних попытках достичь места, откуда пуца начинает высвобождаться из своего непрестанного изменения.

Другое захватило Сивоока.

Перед его глазами в буйных травах, в перелесках и между могучими деревьями медленно бродили огромные чудесные животные. Было их тут бесчисленное множество. Огромные быки, темно-серые, с широкими белыми полосами вдоль хребта, неторопливо брели по траве, такой высокой и густой, что их головы были погружены в нее, словно в воду, и только острые толстые рога плыли поверху, загадочные в своей неподвижности. За каждым из быков, пригнувшись, двигались гнедые упитанные коровы, а уже за ними семенили резвые телята, которые бросались сюда и туда, там щипали, там

хватали, но никогда не забегали перед вожаком табуна. Чем старше был бык, тем толще у него были рога, тем больший табун он возглавлял, гордясь силой и умением, и время от времени низким густым ревом предупреждал о том, чтобы ему уступали дорогу.

Это были туры, властители пуши, и тут было их царство, за пределы которого они выходили лишь изредка, только отдельными табунами, в то время как все их племя жило здесь, жило испокон веков, вольное от всего, подчиняясь лишь голосу крови.

Вот так выгуливались за лето телята, набирались силы быки, прибавляли в весе коровы, ничто не нарушало покоя турьего царства, потому что не имел сюда доступа ни один зверь – ни волк, ни медведь, ни россомаха; если же иногда и случались мелкие стычки между самими властелинами сердца пуши, то они сразу и заканчивались, потому что этим нарушался установившийся порядок, согласно которому все притязания должны были быть разрешены поздней осенью, когда выпадет первая пороша на леса и воздух станет прозрачно-звонким и свободным для всех дуновений и запахов.

Тогда у быков еще больше увеличатся крутые бугры возле рогов, и они будут выбирать самые крепкие, самые толстокорые деревья и будут упорно тереться об их стволы лбами, оставляя на шершавой коре капельки густой жидкости с сильным запахом, который разнесется по всей пуще. И у каждого тура будет свой запах, и коровы смогут выбирать

тот, который им больше нравится, и будут они идти на запах, обещающий так много... Вот тут бы, казалось, и начало турьих любовных игр, ибо кто отважится стать помехой властителям пуши в минуту их высших упоений!

Но именно здесь и начиналось самое страшное и самое будоражащее одновременно. То ли турицы иногда обманывались лесными расстояниями и приходили на зов не к самым сильным и красивым турам, а к старым и немощным или же к очень молодым еще да зеленым, или нарочно выбирали более слабых, чтобы дать возможность сильнейшим отвоевать их в упорной борьбе? Иногда к одному туру сбегалось слишком много самок, а другой не имел ни одной, несмотря на то что изо всех сил бодался с неуступчивыми деревьями, выдавливая из своих желез остатки соблазнительной жидкости. Иногда коровы, разгулянные и разнеженные за лето, еще заранее примечали другого тура и оставляли своего давнего вожака, чтоб переметнуться к новому избраннику. Вот тогда и закипали кровавые бои между властителями турьего царства, рев стоял над пущей, ломались деревья, летела вверх черная земля, трещали рога, более сильный одолевал слабого, повергал его в болотистую жижу и оставлял там издыхать в муках, а сам, поигрывая от избытка силы упругими мускулами на шее, шел к отвоеванным для себя самкам, заводил их в излюбленное укрытие, где и совершал великое таинство, благодаря которому начинался новый турий род.

Сивооку хотелось быть сильным, как тур. Тогда бы он лег-

ко одолел Ситника, выпустил бы из-за дубового частокола Величку, нарвал бы для нее лучших цветов в лесах. Но это – лишь в мыслях. А на самом деле он пока мог лишь украдкой любоваться могучими животными, которые не замечали его присутствия в своем царстве, были равнодушны ко всему на свете, кроме самих себя. Постепенно Сивоок убеждался, что и тут царит лишь видимый покой. В самой неторопливости передвижения больших и меньших табунов наметанный глаз улавливал неодинаковость. Одни, сразу попадая на лучшую траву и более вкусные побеги, паслись, почти не двигаясь с места, другие слонялись да искали – не могли найти; одни быки вели свое семейство тихо и смиренно, другие еще издали подавали голос, глухо гудели, предупреждая о своем приближении и нежелании встретить кого-либо на пути; дороги передвижений разных табунов время от времени перекрещивались, и тогда один тур уступал, а другой гордо проводил своих дальше; кроме того, между степенными семьями, возглавляемыми опытными самцами, бродили небольшие табунки молодых туров, а то и просто одинокие подтелки, задиристые и нахальные. Эти ко всем приставали, у всех становились на пути, без причины готовились к драке, наклоняя голову к самой земле и нетерпеливо загребая копытом землю. Но достаточно было старому туру угрожающе зареветь да к тому же еще и пригрозить задире своими страшными рогами, как тот пугливо отступал и брел дальше в поисках нового приключения.

Из всех молодых особенно выделялся один. Выделялся необычной мастью – огнистой короткой шерстью, которая только на подгрудке начинала темнеть, обещая обрести когда-нибудь тот неповторимый оттенок, который бывает у старых туров. Был он каким-то словно бы более высоким на ногах – ни один из молодых или старых туров не мог сравниться с ним, потому что всех их давили к земле тяжелые бугры мышц на шее и на загривке. Тогда как у всех туров мышцы, словно бы сдвинутые какой-то удивительной силой, сгучивались только в передней части тела, у этого мышцами играло все тело. Он весело нес свои задорные рога, резвясь, помахивал головой, будто подбивая лбом что-то невидимое, подтанцовывал на месте, перепрыгивал дорогу то одному туру, то другому, изговариваясь даже к схватке и с молодыми и со старыми, иногда и скрещивал свои рога в ненастоящем поединке, но сразу же высвобождал их и, весело припрыгивая, мчался дальше.

Этот огнистый молодой тур вельми пришелся по душе Си-вооку, и хлопец даже выдумал для него имя – Рудь.

Чаще всего Рудь приставал к огромному, будто черная гора, туру, который ревел грозно и могуче, так что даже казалось, будто содрогается земля от его рева. Если бы пришлось подбирать для такого имя, то лучшего и не придумаешь, чем – Бутень¹. Быть может, этот Бутень был самым сильным в турьем царстве, потому что от его рева пугливо

¹ От украинского слова «бутіти» – глухо реветь, мычать.

убирались прочь все табуны, а он вел свое едва ли не самое многочисленное семейство осанисто и горделиво. Никто не осмеливался пересечь ему путь; тот, кто оказывался поблизости, старался поскорее убраться восвояси; когда слышался рев Бутеня, никто уже не пробовал подавать голос, потому что показался бы он вялым и немощным.

Быть может, все это и не нравилось Рудю, а может, бурлила в нем глупая молодая сила, которую он не знал куда девать и потому наскакивал на Бутеня, задевал его то так, то сяк, дразнил все больше и больше, пока не лопнуло у того терпение и могучий тур не остановился, пропуская мимо себя свой табун, а сам угрожающе выставил против Рудя свои толстенные рога, на каждом из которых мог бы повиснуть такой вот нахальный молодой тур.

Сивооку невольно вспомнилось, что из таких турьих рогов у деда Родима был лук. Он купил его у проезжего греческого купца за большие деньги, ибо грек клялся, что такой лук есть только у него, что сделал его знаменитый заморский мастер и заклил, из-за чего никто не хотел брать лук на продажу, а он рискнул, потому что знал заклятие мастера. А заключалось оно в том, что тот, кто сумеет согнуть лук и натянуть тетиву, будет делать великие дела. Есть луки из рогов буйвола, и их тоже мало кто в состоянии согнуть, а уж кто это сделает, тот становится великим воином, а то и князем, этот же лук и вовсе необычный. На все эти разглагольствования купца дед Родим тогда лишь улыбнулся, взял лук, упер его

одним концом в землю и согнул так легко, будто был он не из могучих рогов и даже не из крепкого тисового дерева, а из молодой вербы. И стрелял тогда Родим из своего лука так далеко, как никто бы не смог, но больше ничего не успел сделать, иссеченный мечами тех, которые пришли под крестом.

Ну да были то рога неживые, о них Сивоок не стал бы и вспоминать, если бы не дед Родим. Но и это воспоминание мелькнуло лишь на мгновение, потому что все внимание хлопца сосредоточилось на двух могучих зверях, старом и молодом, гонком, юрком, но еще не окрепшем и не затвердевшем в нерушимой своей силе. Один был как веселое полыхающее пламя, другой – темный, будто земной кряж, один, казалось, толком еще не осознавал, на что решился, другой относился к стычке степенно, ибо раз уж он встал на бой, то должен быть бой, должны тут быть побежденный и победитель, один должен был уйти, а другой – лечь, быть может, и навсегда. По тому, как напряглись мышцы на могучейшее Бутеня, как выставил он на противника свои необъятные рога, можно было совершенно не сомневаться относительно того, как будет проходить стычка, и Сивоок немало удивлялся легкомысленности Рудя. А тот как ни в чем не бывало тоже надулся, напыжился, выставил свои тонкие рожки против замшелых кольев старого и еще словно бы и подвинулся чуточку вперед, чтобы схватиться в смертельном поединке с непреодолимым опытным туром, но в последний миг внезапно прыгнул вбок, как-то смешно взмахнул голо-

вой и, видно, и сам не ведая, что делает, пырнул Бутеня рогом в заднее левое бедро. Он загнал рог так глубоко, что даже остановился, перепуганный своевольным своим поступком, но сразу же опомнился, рванулся еще больше вбок и, пропахивая в мохнатом бедре Бутеня широкую и глубокую борозду, вырвал свое оружие и бросился наутек.

Но Бутень не стал его преследовать. Глухо заревев вдогонку своему врагу, он тяжело повернулся и побрел в заросли. Из широкой раны била густая красная кровь. Тур шел тяжелее и тяжелее, все больше припадал на раненую ногу, но не падал, – наверное, не хотел позориться перед всем турьим племенем, стремился спрятаться со своей бедой, потому двигался в молодую чащу, где бы мог найти убежище, и еду, и, может, воду.

Сивоок тоже украдкой двинулся за Бутенем, он бесстрашно углублялся в заросли, опережая старого тура, – знал ведь, что раненый зверь для него не страшен, а сам он еще слишком мал, чтобы его боялся Бутень и останавливался.

Росло там несколько довольно крепких ольховых деревьев, вокруг них поднимались молодые побеги, солнце почти не проникало в эти зеленые сумерки, и земля тут никогда не просыхала, была настолько мокрой, что под ногами чавкало, как на болоте. Потом вдруг встала перед Сивооком непрístupная стена колючих зарослей, но он, извиваясь ужом, проник и сквозь нее и нашел там круглую лужицу воды, чистой и спокойной. Едва успел он отскочить на дру-

гую сторону озера в кусты, как задрожала земля и, проламываясь тяжелым телом сквозь колючки, упал возле озера Бутень. Немного полежал, расширенными ноздрями хватая воздух, потом ползком приблизился к воде и начал пить. Сивооку показалось даже, что озеро уменьшилось, так долго и жадно пил Бутень. Напившись, он снова отдохнул и, не поворачиваясь, задом, смешно отполз за колючие кусты в молодой ольшаник. Когда Сивоок осторожно заглянул и туда, он увидел, что Бутень попеременно пожевывает то молодые веточки, то какую-то остролистную траву, умело выбирая ее широкие листики среди многих других, озабоченно пережевывая их, так что даже зеленая пена выступала в уголках пасти. Может, это была целебная трава, которую дед Родим прикладывал к язвам? Но подойти к Бутеню вплотную Сивоок все же не осмелился и, оставив старого турализывать раны, снова вернулся туда, откуда мог видеть турье царство и прежде всего – молодого Рудя, которому отдавал теперь все свои симпатии.

Рудь резвился, как и прежде. Вприпрыжку шел перед старыми степенными турами, нахально обнюхивал их коров, цеплялся к неопытным еще телкам, взбрыкивал без всякой видимой к тому причины, лихо выгибал шею так, что даже задевал то одним, то другим рогом землю. Про Бутеня он, наверное, уже и забыл и задел его не из какой-то там корысти, а просто от избытка силы.

И тут словно бы что-то толкнуло Сивоока. А сам он на

что растрачивает свои силы? Стоит тут как пень, разинул рот на турьи побоища, так, словно бы это ему крайне необходимо. Вовсе выпустил из виду, почему бежал из Ситникова городка, забыл и про Величку, и про обещанный ей цветок. А солнце уже клонилось совсем книзу, и приближалась неотвратимая ночь, нечего было и думать о том, чтобы выбраться из пущи сегодня, – придется здесь и заночевать. Сивоок не боялся темноты и одиночества, потому что и к тому и к другому приучен был Родимом, знал также, что добрые боги оберегают того, кто им по душе, с одинаковой старательностью днем и ночью; точно так же, как днем и ночью, подстерегает тебя бесовская сила, и ты уже сам должен позаботиться о том, чтобы не поддаться ей. Надолго еще хватит ему науки Родима, заботливости Родима. Вот за пазухой у него кожаный кисет, а там огниво из сизой стали, черный кремь и сухой трут – тоже подарок Родима, который всегда предостерегал: отправляешься хотя бы в кратчайшую дорогу – имей при себе огниво, чтобы всегда мог обогреться, отогнать дикого зверя, что-то там себе приготовить поесть.

Но огня Сивоок сегодня так и не развел. Во-первых, потому, что озабочен был тем, как выбраться из лесу, поскольку попал в турье царство невольню, дороги не помнил, а теперь, как ни старался, все почему-то вертелся вокруг одних и тех же мест, снова и снова попадал на поляны, где бродили круторогие великаны, или оказывался возле небольших озер, в которых неумоимо трудились вечные пыльщики и

точильщики – бобры. Не раз и не два замирал он, любясь странными водными созданиями, завидовал их неутомимой озабоченности, их дружности.

А вечер опускался на леса, вел за собой ночь, полную загадочных шорохов, криков, стонов, в пуще словно бы начиналась новая жизнь, намного более бурная и клокочущая, чем днем, главное же – во сто крат более угрожающая. Ночь упала на пущу как-то совсем неожиданно, застала Сивоока врасплох, он не подумал еще ни о костре, ни об укрытии, поэтому вынужден был взбираться на первое попавшееся ветвистое дерево, устраиваться вверху, чтобы кое-как передремать до утра, а уж потом попытаться выбраться на вольный свет.

...Он проблуждал несколько дней. Убил палкой какую-то птицу, зажарил ее на огне, как научил когда-то Родим. Потом в болотцах искал сладкие корни, искал долго, еще дольше потом лакомился ими. Если бы у него было какое-нибудь оружие, он подстрелил бы маленькую серну, но что делать безоружному?!

Лесные странствия имеют свои законы. Если человек ищет и знает, что именно он должен найти, то рано или поздно он своего добьется. Но Сивоок натолкнулся вовсе не на то, ради чего забрался в пущу.

Когда он, уже изрядно отошав, стал, как ему казалось, выбираться ближе к лесной опушке, и уже дохнуло свободным ветром, и с каждой минутой на пути у него оказывалось все больше освещенных кряжей – места, где именно и попадают-

ся те редкостные синие цветы, один из которых где-то терпеливо ждала маленькая Величка, – Сивоока чуть не постигла беда. Он шел, беззаботно вылавливая лицом солнечные поцелуи, легко спускаясь с пригорков, неслышно шагал по пушистому слою многолетней хвои, умело пробирался сквозь цепкие заросли. Его ухо улавливало каждый треск и самый малейший шелест, его чуткий глаз быстро схватывал все явное и притаившееся. Вот так бы и жить ему среди деревьев в этом мире, где зависишь только от собственного умения и ловкости, где нет ни ситников, ни глуповатых тюх, ни тех черных убийц с серебряными крестами. Вспомнил, что на подворье у Ситника, как ни просторно оно, не росло ни единого деревца, и немало удивился этому обстоятельству. У них с дедом Родимом росло много деревьев, а Родим к тому же каждую весну приучал Сивоока сажать хотя бы один пруттик, который со временем зазеленеет и возвеселит не одно сердце. Конечно, таких слов Родим не говорил, Сивоок сам думал об этом, когда следующей весной на прошлогоднем прутике набухали почки и затем появлялись из них маленькие, чистые-пречистые листики.

Человек должен жить среди деревьев, только они его молчаливые, верные, надежные друзья. Сивоок не знал песен, но в голове у него сама по себе неволью слагалась этакая бесхитростная песенка из четырех слов, и пока он шел, кто-то повторял в нем четыре слова: «Человеку жить среди деревьев... человеку жить...»

И вдруг у самого уха хлопца что-то свистнуло хищно и тонко. Сивоок, не успев ни о чем подумать, невольно метнулся за ближайшее дерево, голова его быстро повернулась назад в направлении угрожающего свиста, и только теперь он весь застыл от страха. В нескольких шагах от него, впившись в шершавую кору дуба, торчала коротенькая черноперая стрела. Она еще покачивалась, еще звенело в ней злое напряжение полета, и Сивоок невольно вздрогнул, представив, как впиалась бы она в него, если бы стрелок не промахнулся. И то ли его невидимый противник почувствовал, что Сивоок неодобрительно подумал о его способностях стрелка, то ли неосторожно выдвинулся Сивоок из-за дерева, но тотчас же новая стрела сухо ударилась о кору укрытия Сивоока, как раз на уровне сердца парня, и упала тут же, рядом, вместе с изрядным обломком коры. По тому, как она упала и как застряла первая стрела, Сивоок понял, что стрелок целится сверху. Он начал осторожно оглядываться по сторонам и увидел, что должен был бы увидеть хотя бы точку раньше. В деревьях были борти. Правда, они были такие старые и замшелые, что заметить их мог лишь необыкновенно опытный наблюдатель. Но разве же Сивоок не считал себя именно таким? Видать, он неосторожно забрел в расположение чьего-то бортнического хозяйства, и вот теперь хозяин, выследив непрошеного гостя, решил наказать его. Сивоок знал нескольких бортников, из тех, которые приносили иногда Родиму мед и воск: были это мрачные, нелюдимые

человечки, жалкие и хлипкие; они выходили из лесу лишь на короткое время и снова укрывались туда, ибо чувствовали себя там надежнее и спокойнее. Но чем мог угрожать невидимому бортнику он, малый Сивоок? Или тот не видит, с кем имеет дело, или же его нелюдимость простирается так далеко, что встречает он стрелой каждого, кто осмеливается хотя бы ступить на его участок?

Сивоок еще как-то неосмотрительно покачнулся за деревом, и новая стрела мгновенно упала сверху, на этот раз пробив хлопцу кончик его корзна. Стрелок не шутил. Он продержит так до заката солнца, а там тоже еще неизвестно, выпустит ли из-за дерева, ибо кто же знает: может, он и в темноте видит, как сова?

– Дядя, – изо всех сил закричал Сивоок, – не стреляйте, дядя!

В ответ – новая стрела, правда, уже не такая точная.

– Да что же вы стреляете, дядя? – плаксивым голосом взмолился Сивоок. – Мал я еще ведь!

Стрелы больше не было. Было молчание. А немного погодя, видимо, после раздумий, к Сивооку долетело:

– А я – большой?

Голос был тонкий, тоньше даже, чем у Сивоока; он чем-то напоминал даже голос Велички. Вот будет смеху, если там девочка!

– Я заблудился! – крикнул немного смелее Сивоок. – Я не вор.

– А кто тебя знает. Пасешься тут возле наших бортей, – последовал ответ откуда-то сверху.

– Правда. Я ищу цветок, – убеждал Сивоок.

– Врешь, – не верил тот.

– Синий цветок.

– А хотя бы и черный – все равно врешь.

– Но ведь это – правда! Я пообещал Величке. Ты посмотри на меня и увидишь, что я молвлю правду. У меня нет ни ножа, ни оружия. Чем бы я мог вырезать твои борти?

– Не выходи, буду стрелять!

– Но ведь я внизу, а ты наверху, я не причиню тебе никакого вреда.

– А откуда знаешь, что я вверху?

– Слышу, да и стрелы летят.

– Ты, может, колдун? Не шевелись, иначе прошью насквозь!

– Да нет, я просто малый. Сивоок.

– Что это еще за имя?

– Не знаю. Так зовут.

– Ну так и постой себе там за деревом.

– Но я должен идти.

– Все равно стой.

– Я блуждаю по пуще много дней.

– Врешь. Как же ты живым остался?

– Голоден я и устал.

Бортник снова долго думал и молчал. Наконец он решил-

ся.

– А ну-ка, пройди от своего дерева к соседнему. Но потихоньку. Если побежишь – застрелю.

Сивоок высунулся из-за своего укрытия, неторопливо пошел через открытое место.

– Стой! – крикнул ему все еще невидимый бортник. – Почему такой большой?

– Да нет, я совсем малый, мне десять или двенадцать годов. Никто не знает толком.

– Как это никто? А мать?

– Матери нету.

– Отец?

– Нет никого.

– Где живешь?

– Нигде.

– А цветок, говорил, – кому же он?

– Величке. Девочка такая маленькая. Встретил ее – пообещал. Потому что она никогда не была в пуще.

Бортник снова долго думал.

– А постой-ка! – заговорил он после паузы.

Умело и быстро он начал спускаться вниз, и только теперь Сивоок увидел, что человек этот укрывался за одной из бортей, – видно, у него там была заранее приготовлена засада, из которой он видел все вокруг, сам оставаясь незамеченным.

Он соскочил на землю, держа наготове натянутый лук со стрелой, направленной прямо в Сивоока, и недоверчиво

начал приближаться. Был совершенно маленьким, ободран-ным, словно бы только что вырвался из медвежьих объятий, но лицо у него было умное, сообразительное, в особенности поражали глаза – в зеленом блеске, хитрые и юркие.

– Огромный еси, – с прежней недоверчивостью промолвил бортник.

– Учился поднимать Родимов меч, – оправдываясь, сказал Сивоок, – а меч был тяжелый. Ни у кого таких не было.

– А Родим – кто?

– Дед мой.

– Где же он?

– Убит.

– Ага. Что же будешь делать?

– Не знаю.

– А цветок?

– Ну, найду его, отнесу Величке, а потом – не знаю.

– Врешь. Зачем носить цветы? Где растут, пускай себе растут. Кто это должен их носить?

– Да я не знаю. Пообещал Величке, потому что она никогда не видела.

– Все равно врешь. Должен же ты что-то делать. Борти присматривать, ловить рыбу или зверя. Добывать корни...

– Ничего не знаю.

– Вот если бы я тебе поверил, – сказал с каким-то сожалением маленький бортник.

– Так что? – без особого любопытства спросил Сивоок.

– А то, – ответил тот и отклонил лук в сторону.

Сивоок переступал с ноги на ногу, ибо до сих пор еще боялся хотя бы пошевелинуться, опасаясь, как бы глуповатый бортник не прошел его стрелой.

– Знаешь, – сказал снова бортник, – тебя как зовут?

– Говорил уже – Сивоок.

– Хорошо. У тебя и верно сивые глаза. Таких я не видел никогда. Видать, не врешь, раз у тебя такие глаза. А я – Лучук, и отец у меня Лучук, и дед. Потому что все очень метко стреляли из лука. И я. Хочешь, вон в тот сучок попаду?

– А ну, попробуй.

Стрела просвистела вверх и впилась именно там, куда указывал маленький Лучук.

– Ну? – спросил он.

– Ладно.

– Теперь видишь? Я тебя нарочно не задел.

– Гм.

– А ты неразговорчивый.

– Да нет.

– Знаешь, у тебя братья есть?

– Сказал же: никого.

– А у каждого должны быть братья.

– Пускай.

– У меня тоже нет. Знаешь... – Лучук повесил свой лук на плечо, он доставал у него до самой земли. Сивоок удивился даже, как мог парнишка натягивать тетиву. – Ты уж

неси свой цветок, а потом возвращайся ко мне, и мы станем братьями.

– А как это?

– Ну, просто – братья. Всегда вместе, один за одного и один для одного.

– И что?

– А потом удерем отсюда.

– Куда же?

– За пуцу.

– Я из пуци никуда не хочу, – сказал Сивоок.

– Ну, ты приходи, тогда договоримся. Я тебе расскажу. Ты еще не знаешь. Придешь?

– Ну... – Сивоок думал. – Не знаю. Может, и не найду тебя.

– Да что! Это так просто. Идти, идти – и выйдешь на нашу горку.

Сивоок немного подумал еще, но глаза Лучука сверкали так чисто и честно, что он решил быть откровенным до конца.

– У меня тур есть, – сказал он небрежно.

– Тур? – недоверчиво подошел к нему Лучук. – Убил?

– Живой.

– Так как же он – у тебя? В пуще?

– В пуще, но мой. Знаю, где лежит. Ранен.

– Давай пойдем к нему. Ладно?

– Когда я вернусь.

– Ну, я буду ждать. Хочешь, я тебе подарю что-нибудь – стрелу или нож?

– Не нужно, – ответил Сивоок, – все равно нечем заплатить за подарок. Нет у меня ничего.

– Э, да ты ведь голоден, – вспомнил Лучук. – Давай накормлю тебя. У меня есть хлеб, а мед сейчас добудем. Но только приходи.

– Приду, – пообещал Сивоок.

– Обещать легко.

Он еще не знал множества вещей. Не видел больших городов, хотя и догадывался немного о них со слов торговых людей, которые приезжали к Родиму. Не знал ни бояр, ни князей, ни императоров и почти не слышал о них и не представлял, какая может быть связь между ним и далекими властелинами. Самое же главное, что Сивоок совершенно не представлял, в какое время он живет. А это были странные, смутные времена. Времена, когда люди созревали быстро, старели рано, времена, когда четырнадцатилетняя королева приказывала удушить ночью своего шестнадцатилетнего мужа (ей казалось, что он стар для нее) и сама приходила в темную спальню, стояла на пороге в длинной полотняной сорочке, держа высоко над головой свечу, присвечивала своим послушным челядинцам, которые чинили расправу, скорую и беспощадную, и топала ногами: «Скорее! Скорее! Скорее!» Это были времена, когда одиннадцатилетние епископы посылали бородатых миссионеров завоевывать для жестокого

христианского Бога новые пространства, заселенные дикими язычниками, и, сурово насупливая свои жиденькие бровишки, поглаживая золотые панагии, украшенные сапфирами и бриллиантами, слушали, сколько непокорных убито, сожжено живьем, утоплено, изрублено и сколько покорено. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч»².

Это были времена, когда никто никому не верил, когда вчерашний союзник, получив плату, сегодня выступал против тебя, когда князь, поклявшись на кресте перед другим князем в том, что будет соблюдать мир, улучив удобный момент, отрубал мечом голову тому, с кем только что поцеловался.

Была ли тогда любовь, в том темном и мрачном веке? Наверное же была, но пряталась далеко и глубоко в дебрях, да так и осталась непрослеженной и незамеченной, и ни один летописец или хронограф не зафиксировал ничего светлого, нежного, человеческого, а только кровь, развалины, предательство, коварство.

«Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее»³.

И кто бы мог увидеть, как маленький мальчик, в безбрежной своей наивности, после многодневных блужданий в дикой пуще несет оттуда удивительно синий цветок в окружен-

² Евангелие от Матфея, 10, 34.

³ Там же, 10, 35.

ный высоким частоколом мрачный двор, из которого с трудом сумел убежать. Возвращаться добровольно в неволю ради какого-то цветка? Зачем? И кому нужны цветы в такое безжалостное время?

Но, видимо, когда творишь добро, не думаешь об этом. Заранее обдумывают лишь подлость.

Сивоок пообещал Величке – значит, не мог не выполнить свое обещание. А почему обещал, почему такая глупая прихоть: принести цветок из лесу, тогда как у Велички вон какое множество маковых цветов в огороде?

Разве он знает? Впервые встретил девочку, непостижимое существо, похожее чем-то на тех глиняных божков, которые изготовлял дед Родим. И волосы у нее необычные, и голос, и походка. Ходила она так: руки опущены вниз, а ладони выгнуты и пальцы растопырены, словно она боится чего-то, и глаза то и дело бегали за руками, за каждым пальчиком. Так, словно не идет она, а собирается вот-вот взлететь, потому что ей здесь неинтересно. А он хотел задержать ее на земле. Не было у него для этого ничего, кроме увиденного когда-то в пуще синего цветка.

Он ходил вокруг плотного частокола, пытаясь отыскать хотя бы щелочку, чтобы протиснуться во двор и выследить Величку, спотыкался в увядших ромашках, с сожалением посматривал на свой цветок, который мог увянуть от жаркого солнца, и, утратив надежду найти выход, стал потихоньку звать: «Величка, Величка!»

Долго ходил, звал и не услышал, как тайком стукнули запоры на воротах, без скрипа разъехались тяжелые половинки, создавая узкую щель, сквозь которую мгновенно протиснулись Ситник и Тюха, не видел, как они побежали вдоль частокола в разные стороны, он продолжал кричать свое «Величка!» и прислонялся ухом к нагретым солнцем дубовым бревнам, когда мелькнуло у него перед глазами неуклюжее, мохнатое, ненавистное. Он отпрянул от Тюхи и резко повернулся, чтобы убежать в другую сторону, а там, растопырив руки, будто собираясь ловить петуха, раскорячился веселый Ситник, истекая потом торжества и удовольствия.

От неожиданности Сивоок застыл на месте. Он остановился почти на неуловимый миг, но и этого оказалось достаточно для Тюхи, который навалился сзади на хлопца, подминая его под себя. Сивоок собрался еще с силами, чтобы вырваться из медвежьих лап Тюхи, но отскочить хотя бы чуточку в сторону, где бы уже никто не догнал его, он не успел, потому что подбежал Ситник и навалился на него своим тяжелым, жирным телом. Разъяренный Тюха в своей рабской услужливости снова вцепился в подростка, рвал на нем корзно, бил куда попадет, брызгал бешеной слюной.

Синий цветок лежал среди присушенных солнцем ромашек, и его топтали босые ноги Тюхи и ноги Ситника, обутые в добротные кожаные постолы, – топтали жестоко, безжалостно, с наслаждением.

– Величка! – закричал из последних сил Сивоок, еще пы-

таясь вырваться. – Величка-а!

Они еще били его, уже повалив на землю; возможно, теперь он своим телом прикрывает тот синий цветок, беспомощный, никому не нужный, наивно-смешной синий цветок, о котором хлопец, быть может, и забыл, потому что помнил еще только про Величку, пробивалась эта память сквозь удары, сквозь боль, сквозь издевательство.

– Величка-а!

И тогда случилось чудо. Оно налетело из-за изгиба частокола, сверкнуло золотом волос, белыми ножками и ручками, оно подбежало к разъяренным, запыхавшимся, одичавшим, ударило маленькими кулачками по толстой спине Ситника, заплакало, закричало: «Пустите, пустите его!»

Ситник хотел оттолкнуть ребенка, он небрежно отодвинул девочку толстой рукой, тогда Величка вцепилась зубами в его палец. Ситник взвыл от боли, попытался выдернуть палец, но острые зубы еще глубже впивались в его тело, и тогда он, не задумываясь, ударил девочку свободной рукой, а Сивоок в это время попытался подняться, – если бы только ему удалось встать на ноги, да еще если бы он был хотя бы на два-три года старше, чтобы он мог осилить этих обоих, о, если бы!

Но Тюха сгреб его снова, налегая на спину; Сивоок только и успел направить голову навстречу толстяку Ситнику, который, расправившись с дочерью, снова возвращался к несчастному хлопцу; и то ли сам Ситник с разгону натолк-

нулся животом на голову парня, то ли Сивоок сумел резко двинуть головой вперед, а только толстяк удивленно икнул, пустил глаза под лоб, пробормотал: «Убил!» – и мягко осел назад. Тюха прижал Сивоока к земле и стал ждать, что будет дальше, но тут снова подбежала Величка, которую отец оттолкнул было прочь: не заметив, в каком состоянии отец, Величка снова бросилась на него, снова впиалась зубами в его руку, и боль вернула толстяку сознание, он замахал рукой, отбиваясь от Велички, быстро вскочил на ноги, заревел Тюхе: «Тащи его в яму!»

Так Сивоок очутился в яме, вырытой в углу Ситникова дворища, прикрытой сверху толстыми бревнами, еще и придавленными тяжелым камнем.

Кувшин с водой и жесткая просяная лепешка – вот и все, что ему иногда подавал Тюха со злорадным посапыванием: он рад был иметь товарища по кабале, к тому же товарища еще более униженного, опущенного уже и вовсе низко. Сивоок не разговаривал с ним. Да и какой смысл. Тот, кто помогал забросить тебя в яму, и пальцем не пошевелит, чтобы ты оттуда выбрался. Это уж так. Большой мудрости тут не нужно.

Сначала Сивоок пробовал вести счет дням и ночам, ибо сквозь щели между бревнами светило солнце, и он даже пытался подставлять под узкие лучи то руку, то лицо, но вскоре сбился со счета, потому что долго сидел, солнце на небе исчезло, пошел дождь, в яме захлюпала вода, ему негде было

на ночь прилечь, и он по-настоящему затосковал.

Вот тогда и пришла к нему Величка.

– Сивоок! – позвала она тихонько, видимо, остерегаясь, чтобы ее не услышал отец. – Ты там?

– Тут, Величка.

Она заплакала.

– Не плачь, – сказал он.

Она заплакала еще сильнее.

– Я принес тебе синий цветок, – сказал он.

Она продолжала плакать.

– Но они отняли, – сказал он.

Она только и могла, что плакать.

– Не плачь, а то и я заплачу, – сказал он.

Тогда она перестала.

– Вот я выберусь отсюда и принесу тебе цветок непременно, – сказал он.

– Тут такие тяжелые бревна, – снова заплакала Величка.

– Это ничего, – сказал он.

– Я принесла тебе хлеба и вепрятины, но бревна такие тяжелые...

– Не беда, – сказал он.

– Я и завтра приду. – Она не переставала плакать.

– Буду ждать тебя, – сказал он.

Возможно, она и пришла, но Сивоока в яме уже не застала. На рассвете его вытащили оттуда Ситник и Тюха, крепко связали сыромятным ремнем, подвели к знакомому уже

возку, на котором теперь темнела небольшая лубяная будка. Сивоока затолкали в возок, впереди сел Ситник, прячась под лубом, по которому тархтел крупный дождь; Тюха открыл ворота, и снова хлопец почувствовал свободу. Правда, у него были связаны руки, он был голоден и изнурен без меры; и без того промокший, он и дальше мок под безжалостным дождем, потому что места под навесом хватило для одного лишь Ситника, но все равно для Сивоока это уже была свобода, ибо он не сидел больше в яме и вырвался из дубовых объятий ужасного частокола. Он был настолько обрадован, что даже не подумал, куда и зачем везет его Ситник, но хотя бы и подумал, то все равно ни за что не мог бы отгадать, потому что в детской своей наивности, которую в нем изо всех сил поддерживал честный Родим, Сивоок и в мыслях не мог допустить, что на той великой и вольной земле, где он вырос, могут продавать людей за серебряные гривны точно так же, как продавал когда-то Родим горшки и глиняных богов.

Но при всем том, что Сивоок ничего не ведал о своем будущем, он хорошо уже знал, что ждать добра от коварного Ситника ему не следует, и вскоре после выезда радость от созерцания свободных просторов сменилась в сознании хлопца тревогой, он двигался в телеге, то одним, то другим плечом старался вытереть смачиваемые беспрестанно дождем щеки и вот так, шевелясь, стал чувствовать, что сыромять у него на руках намокает все больше и больше, становится

скользкой, и кажется, стоит лишь малость напрячься – и ты высвободишься. Сивоок дернулся раз-другой, чуть было не утратив равновесия, качнулся в сторону Ситника, тот заметил возню хлопца и засмеялся:

– В буду хочешь? Ничего, покупайся на дождике, смердишь вельми.

Сивоок молчал. Он притих, испугавшись, что медовар раскроет его тайное намерение – и тогда конец всем надеждам. Но как только проехали еще немного и Ситник, вынув из сумки огромный кусок копченки, начал аппетитно есть, Сивоок снова принялся за свое. Хотя сырмять была мягкой и скользкой, она не очень поддавалась, нужно было упорно растягивать узлы, а к тому же приходилось делать это тайком, чтобы не заметил Ситник. Правда, медовар теперь был целиком занят едой, он смачно чавкал, сопел, отрыгивал, будто жирный гусак, снова откусывал огромные куски, жадно глотал их, так что Сивооку видно было, как после каждого глотка словно судорога проходит по спине Ситника, и хлопец еще больше ненавидел и самого Ситника, и то, как он жрет, ненавидел запах вепрятины, от которого кружилась голова. И Ситник снова что-то почувствовал неладное – то ли неосторожное движение Сивоока заметил, то ли услышал его вздох; он небрежно чавкнул через плечо толстыми губами, с трудом проталкивая слова сквозь плотный рот, пробормотал:

– Не захотел слушать старших, жил бы себе с Тюхой. У

меня хорошо.

– Тюха-Матюха! – едва не плача, ответил Сивоок, которому не хотелось ни единым словом обращаться к сытому медовару, но он не мог удержаться, чтобы не выразить свою ненависть и к нему, и к его глупому холопу. – Тюха-Матюха! – повторил он, считая, что нашел именно те слова, которые наиболее сильно передают его ненависть и презрение.

– Хочешь кусочек? – спросил подобревшим голосом Ситник.

Сивоок молчал. Что он должен был ответить на это откровенное издевательство? Но Ситника одолевала доброта. Он порылся в сумке, достал оттуда кусок хлеба, ткнул его, не глядя, в рот Сивооку, поддержал, пока тот откусил, потом точно так же вслепую подал ему кусок мяса, в которое зубы хлопца вонзились уже с большей торопливостью, без малейших колебаний.

– Вкусно, правда? – чавкая, спросил Ситник.

– У-ум! – пробормотал Сивоок, делая вид, что удобнее усаживается, и одновременно изо всех сил дергая левую руку из скользкой, будто лягушка, сыромяти. Рука словно бы проскочила сквозь узел, но потом застряла еще крепче, однако Сивооку почему-то показалось, что она вот-вот должна выскользнуть, и он, не теряя времени, начал упорно тащить ее на свободу.

– Слушал бы меня, вот каждый день и имел бы полон рот такой вепрятины, – продолжал Ситник. – Я добрый, хочешь

еще?

И, не дожидаясь ответа, снова подал Сивооку попеременно кусок хлеба и кусок вепрятины, и зубы хлопца без дополнительных приглашений сделали свое дело с такой быстротой, что даже сам медовар удивился и хихикнул:

– Ой жрешь!

А у Сивоока уже были свободны руки. Правда, на правой еще висела сыромять, но это уже его не беспокоило. Теперь у него была другая забота: прыгать ли с возка сразу или подождать, пока Ситник накормит его как следует, потому что голодное его молодое тело аж стонало от желания насытиться. Но дорога как раз проходила по вершине крутого косогора. Сивоок понял, что лучше места не следует и ждать, и решительно сделал выбор между волей и сытостью. Он наотмашь огрел Ситника мокрыми узлами сыромяти по сытой харе, выскочил из возка и покатился вниз, сопровождаемый разъяренными плаксивыми выкриками медовара:

– Ой, убил! Ой-ой-ой!

Конь испугался крика и понес. Ситник раскричался. еще больше, теперь уже от ярости на беглеца и на скотину, но чем сильнее он кричал, тем быстрее нес конь, а тем временем Сивоок изо всех сил бежал в противоположном направлении. На пути у хлопца попался ручей – Сивоок перелетел через него, расплескивая во все стороны мутную воду; в размокшем поле чуть было не увяз, вовремя спохватился и бросился в обход, убежал от Ситника, прославляя волю и про-

клиная эту голую, открытую для всех глаз степь, где невозможно найти укрытие от ненавистного медовара. Никогда он не возвратится сюда, никогда! Не выйдет из пущи, останется там навсегда среди могучих деревьев, среди зверей, которые живут сами по себе и не мешают тебе тоже жить, как ты хочешь.

... Лучук уже не ждал своего товарища. Был он ободран сильнее Сивоока, остатки корзна, висевшие на его худеньких плечиках, намокли под дождем, и теперь стало видно, из каких разноцветных лоскутов сшито его одеяние: кусок полотна, обрывок начисто облезшей беличьей шкурки, какая-то грязная полоска, а там и вовсе лубок, вплетенный на спине. Вместо порток на Лучуке висели смешные лохмотья, не прикрывавшие даже срама. Сивоок, хотя и насквозь промокший, хотя и испачканный грязью, рядом с несчастным бортником выглядел почти богачом. Еще не изношенные шерстяные портки, крепкие кожаные постолы, корзно из хорошего тонкого меха поверх льняной сорочки – все это еще с времен, когда был жив дед Родим, все это приобретено у купцов, все такое, что пригодилось бы и на боярского сына. Ну, кое-где протерлось, кое-что разорвалось, изнашилось, однако не так, как на Лучуке, ибо на том и рваться уже нечему было.

– Стрелок, а не можешь добыть себе хотя бы на корзно, – засмеялся Сивоок, шутливо подтолкнув товарища в плечо так, что тот чуть было не упал.

– Э, как тут раздобудешь: я подстрелю, а другие заберут, –

ответил тот.

– Как это заберут? – Сивоок впервые слышал такое.

– А поборы – не знаешь разве? Для князя, для боярина, а там воевода с дружиной нагрянет, а там еще кто...

– А если спрятаться?

– Где же спрячешься?

Это уже и вовсе обескуражило Сивоока.

– Как где?! – воскликнул он. – А в пуще!

– Э-э, – сказал Лучук, шмыгнув носом, – в пуще найдут.

Тут им все известно. Где борти, а где ловы. Вот бы в поле. Там есть где спрятаться.

– Но там же все видно!

– Э, поле широкое, там так затеряешься, что и боги не подстерегут. А пуща тесная. От одного дерева до другого пока перейдешь, а уже тебя там кто-нибудь ждет. Бежим в поле!

– Не пойду, – сказал Сивоок, – я оттуда еле выбрался. Никогда не вернусь.

– Ну и дурак, – равнодушно сплюнул Лучук.

– Давай я тебе покажу в пуще такое место, куда никто не поткнется.

– Где же это?

– Там, где туры.

– Туров тоже убивают. Еще и как.

– Но не там. Потому что там их без счету. Растопчут – лишь прикоснись хотя бы к одному...

– И твой тур там?

– Там. Только это далеко. Тебя не будут искать?

– А кто меня будет искать?

– Ну, отец.

– А он каждый день молится: «А, чтоб тебя зверь разорвал!» Тебя тоже никто не будет искать?

– Меня ищет Ситник, но я больше к нему не вернусь.

Глупое это было дело и ненужное. Но все равно им некуда было податься, вот они и побрели неторопливо вглубь пуши, наслаждаясь свободой, представляя себя единственными хозяевами зеленого шума. Прекратился дождь, пригрело солнышко, Лучук подстрелил косулю, и Сивоок приготовил княжеское жаркое. Шли дальше и дальше, друг другу раскрывая лесные чудеса: то куст, усыпанный крупными яркими ягодами, что были скрыты от постороннего глаза и вспыхивали множеством солнц, как только один из них поднимал прелестный листик; то дикую борть, полную ароматного меда; то теплое гнездышко в синеве высоких невиданных цветов; то хитро устроенную нору дикого зверя; а там пошли дубравы с ненасытными табунами вепрей, озера, застроенные подводными дворцами бобров; и уже на какое-то там утро их блужданий открылись просторные поляны с купами деревьев и густыми перелесками, и на этих полянах – коричнево-серые подвижные горы и пригорки больших и малых туров.

Сивоок умело провел Лучука прямо туда, где залег раненый Бутень, тишина там стояла такая, что хлопцу стало жут-

ко: неужели старый тур погиб и они застанут лишь обглоданный волками костяк? Совершенно не прячься, он быстро тащил Лучука за собой, первым проскочил сквозь кусты на круглую поляну и попятился назад, чуть не вскрикнув от неожиданности.

На изрытой и вытолоченной до основания поляне темной горой возвышался Бутень, крепко увязнув коротенькими ножками в мягкой земле. Он стоял боком к Сивооку и, наверное, спал, потому что не заметил хлопца, и только это и спасло маленьких бродяг. Они изо всех сил помчались назад в кусты, но и тут их подстерегала беда, потому что кусты с другой стороны затрещали, застонала земля, послышалось нетерпеливое сопение, могучая огненно-рыжая туша, дыша на хлопцев жаром нетерпения, проламывалась прямо на поляну к Бутеню, и Сивоок едва успел оттолкнуть в сторону товарища.

Рудь мчался к Бутеню.

То ли он уже бывал здесь, потому что мчался с такой уверенностью и быстротой, то ли уже мерились они снова и снова силой со старым туром, тут или там, на широком раздолье среди трав и деревьев? То ли сам Рудь обнаружил укрытие Бутеня и теперь добивал старика, пользуясь его немощью, или же Бутень, немного придя в себя после ранения, заманил сюда Рудя и попытался проучить молодого нахала?

Как бы там ни было, но, видимо, не в первый раз они мерились тут силами, если судить по тому, какой Сивоок поки-

нул эту поляну и в каком состоянии застал ее теперь.

Бутень не спал. Вероятно, он давно уже почувал приближение своего противника и только прикидывался сонливым, а на самом же деле напрягал каждую мышцу своего могучего тела. Опыт подсказывал ему даже, откуда нужно ждать Рудя, и он направил свои ужасающие рога точно в ту сторону, откуда приближался враг. И как только Рудь выскочил на поляну, Бутень, почти и не сдвинувшись с места, сразу же поймал его на рога, не дал уклониться, заставил идти в схватку лоб в лоб. Получилось так, что у Рудя туловище было чуточку снесено в сторону, поэтому он вынужден был выпрямиться, чтобы пустить силу на силу. Пока же передвигал задние ноги, ослабил напор, чем немедленно и воспользовался Бутень. Он оттеснил Рудя назад, тот зачастил ногами, начал отступать, отступать и, вероятно, позорно бежал бы, если бы вдруг не уперся задом в толстую ольху, росшую на опушке поляны. Ольха сдержала отступление Рудя, он попытался даже перейти в наступление, но Бутень не ослаблял натиска, он двигал и двигал вперед, одновременно следя за тем, чтобы Рудь не увернулся из-под его рогов, горы мышц на шее и холке Бутеня как бы нарастали в твердой окаменелости и давили, давили Рудя, не давая тому ни времени, ни возможности выпрямиться. Конечно же Рудь не сдавался сразу. В его молодом теле собралась уже незаурядная сила, кроме того, на его стороне было преимущество в первом поединке, когда именно он, а не Бутень нанес удар своему противнику. Тут

он не мог свободно отскочить и снова ударить рогами, зажатый в узком месте, но и сломить себя не позволял, он также напрягал свою шею, затвердевшую, как дуб, затвердевшую, быть может, даже сильнее, чем у Бутеня, хотя у старого тура и была она вдвое толще. Видимо, надеялся еще Рудь и на то, что в его молодом теле больше выдержки, чем у старого тура, у которого еще не зажили раны. Главное для него было – выдержать этот первый каменный натиск Бутеня, не уступить, не согнуть шею, ибо тогда гигантские рога Бутеня пронзят его насквозь.

А поскольку натиск старого тура не угасал, а все увеличивался, Рудь, топя передними ногами, постепенно все больше и больше изгибался в хребте, уже его спина изогнулась до предела, уже передние ноги ближе и ближе подтягивались к задним, уже и шея согнулась вниз, как будто Рудь хотел спрятать голову между передними ногами; теперь молодой тур весь свертывался в огромное, упругое кольцо мышц, которое вот-вот должно было распрямиться и отбросить старого Бутеня именно в тот момент, когда тот израсходует остатки своих сил. От невероятного напряжения у Бутеня на икре треснула корка, которой была затянута рана, и красная рана появилась на мохнатой ноге, от всего его огромного тела поднимался тяжелый пар, вытаращенные глаза лезли уже в разные стороны, как будто вот-вот должны были треснуть. Однако у Рудя дела были и того хуже. От напряжения мелко дрожало все его тело, судорожно билась каждая мышца,

каждая жилка, как-то странно вихлялись ноги, а спина напряглась до такой степени, что, казалось, вот-вот уже должна была непременно переломиться прямо посередине.

И именно в тот момент, когда казалось, что Рудь сломится, как усохший ствол, он последним усилием вывернулся в сторону и грузно упал в болото. Бока у него ходили ходуном, а рыжая шерсть промокла насквозь, из раскрытой пасти высунулся бессильный, потемневший язык.

А Бутень стоял над своим поверженным врагом неподвижный и равнодушный. Не добивал его и не отходил от него, будто хотел до конца насладиться своей победой. На самом же деле застыл он от предельной истощенности сил. Мог лишь удержаться на ногах – вот и все.

И это длилось довольно долго. Один лежал, тяжело дыша, а другой неподвижно возвышался над ним, страшный лишь своим видом, будучи на самом деле тоже бессильным. Потом Бутень, которому негоже было выдавать свою истощенность, все же нашел в себе силы шагнуть в сторону, к луже с водой, неторопливо нагнул туда морду, долго пил и, грозно зарычав, побрел сквозь кусты к своему племени, которое, вероятно, с радостью воспримет его возвращение.

А Рудь еще некоторое время полежал, а потом чуточку подвинул голову, ибо на большее не хватило силы, вытянул еще дальше язык, загнул краешек его ковшиком и начал пособачьи хлебать воду из той же лужи, в которой утолил свою жажду Бутень. Он хлебал долго и тяжело, с большими пере-

дышками, ибо даже на такую простую вещь был неспособен. Сивоок тихо толкнул Лучука, показал глазами – айда.

Когда они изрядно отошли от места схватки туров, Лучук сказал с сожалением:

– Здорово же он язык высунул! Так и хотелось подскочить да отмахнуть его ножом! Вот бы зажарили!

– Ох и глупый ты, – незлобиво сказал Сивоок.

– Я старше тебя на три лета, – обиделся Лучук.

– А ума нет.

– Зато у тебя ум – носить цветы из пуши.

– А что, – вспыхнул задетый за живое Сивоок, – носил!

Хочешь – еще понесу!

– Чтобы снова попасть в яму?

– А я хитрее буду. Переброшу Величке цветок через частокол – вот и все.

– Как же ты перебросишь?

– А так: я могу бросить камень дальше всех.

– Зачем же тебе камень? Можешь прицепить свой цветок к моей стреле, я и заброшу его за частокол. Я все могу.

Сивоок тепло взглянул на своего товарища, с которым минуто назад чуть было не рассорился.

– А потом пойдем дальше, – сказал он. – Пускай Величка думает, откуда упал на нее цветок.

– А ежели его найдет Ситник? – спросил Лучук.

– Так пускай подумает, откуда упала на него стрела.

– Все равно хорошо! И пойдем дальше в поле!

– А потом в пущу.

– А потом полем.

– И пущей!

...Только и следу от них было, что удивительная стрела посередине Ситникова двора с прицепленным к ней синим цветком из глубочайшей пущи.

Год 1004

Весна. Киев

И приидохом же в Греки, и ведоша ны, идеже служат Богу своему, и не свем, на небе ли есмы были, ли на земли: несть бо на земли такого дива, ли красоты такая, и не доумеем бо сказати... Мы убо не можем забыти красоты тоя...
Летопись Нестора

Около пристани на Почайне⁴ толкался гуляющий киевский люд, под надзором хозяев разгружались купеческие лоды, лениво покрикивали маленькие радимичи, пригнавшие для продажи огромное множество самодельных челнов; выше, по склону горы, дымились кузницы, в больших закопченных котлах плавил олово и свинец для крыш; по узвозу в город тащили длинные бревна и каменные глыбы, повсюду шныряла детвора, степенно проходили жены, одетые по киевской моде, так, чтобы все было спрятано, даже лицо, открытыми оставались лишь глаза; иногда проезжал всадник из княжьей дружины, сверкая оружием, угрожающе оттопыривая вперед бороду, отращенную на греческий манер. Перевозчик сразу заметил, что хлопцы впервые попадают в Киев, потому что

⁴ П о ч а й н а – небольшой правый приток Днепра, впадавший в него в районе Почтовой площади в Киеве. На Почайне во времена Киевской Руси и до начала XVIII столетия была киевская гавань. В 1712 г. понизовье слилось с Днепром.

слишком уж любопытно посматривают туда и сюда и, кроме того, имеют очень странный вид – с ног до головы завернуты в звериные шкуры, сами тоже ошестинившиеся, будто дики из пуши, у одного через плечо лук и два пучка черных коротких стрел, у другого – тяжеленная суковатая палка, а на шее на крепкой бечевке висит медвежий зуб, искусно вправленный в золото. Прищурив глаз, перевозчик заломил с пришельцев такое, что и самому стало страшно, однако они, видимо, не знали киевских порядков, ибо тот, с медвежьим зубом на шее, молча сунул руку в кожаный мешок, швырнул оттуда прямо под ноги перевозчику дорогую шкуру, и оба, не оглядываясь, быстро зашагали вверх – в город.

Они шли по песчаной разъезженной дороге, головы у обоих были задраны вверх и глаза прикованы к тому диву, которое висело в небе, будто цветное облако. На самой вершине круглой горы, серебристой от песка внизу и ласково-зеленой по боковым склонам, недоступно возвышались дубовые клетки, заваленные черной землей, а за валом белели чистым строганым деревом просторные строения, чуть-чуть выглядывая из-за прикрытия, зато другие строения, выложенные из серого, как соколиное крыло, и из розового, будто улыбка, камня, врезались в самое небо и тоже, как вся гора, поражали круглыми странными крышами, над которыми Сивоок сразу же заметил кресты и схватил своего товарища за руку:

– Посмотри.

– Э, – сказал Лучук, словно бы он уже в десятый раз идет

в Киев, – еще и не то увидим...

Оба остановились и долго смотрели на розовую каменную громаду, висевшую между небом и круглой горой. Солнце выкатилось из-за облака, за которым до этого скрывалось, ослепительно ударило в розовый летучий камень, сверкнуло горячим огнем с круглых верхушек, где перед этим хищно чернели костистые кресты. Кресты горели багровым цветом, они словно бы парили в голубом небе, плыли в медленном золотом игрище, они жили отдельно от дивного города, от серебристо-зеленой горы, от Днепра, от всех тех, кто суетился возле пристаней, кто барахтался в теплой воде, кто поднимался вверх по узвозу или спускался по нему вниз.

– Столько золота, – прошептал Лучук.

Сивоок на миг перевел взгляд на солнце и, ослепленный, снова посмотрел на кресты, но они снова показались ему зловеще черными, и он невольно вздрогнул.

Мимо них покатился возок с товарами кого-то из гостей, погонщик изо всех сил покрикивал на коней, потому что поклажа была тяжелой, все трещало. Потом прошел человек, спрятанный под огромной вязанкой хвороста, видны были только его ноги, для равновесия расставлявшиеся широко и твердо; человек шел неторопливо, вязанка покачивалась в такт его шагам, так, будто этот человек приглашал хлопцев: «А ну-ка пошли, чего остановились?»

И они пошли следом за ним. Узвоз ближе к вершине становился все круче и круче, потому был вымощен здесь де-

ревянными кругляками, купеческий воз впереди тяжело загрохотал на деревянном помосте, напряглись, наверное, чуть ли не из последних сил, купец и его служка, подставляя плечи под ручицы, яростно покрикивали, поворачивали умоляющие красные лица назад, к хлопцам, к человеку с вязанкой хвороста, к кому угодно, лишь бы только помогли одолеть крутой подъем, но хлопцы не знали здешних обычаев и не решались бежать на помощь, а человек с вязанкой хвороста шел, как и прежде, медленно, как и прежде, широко расставлял для равновесия ноги, как и прежде, покачивалась в такт его шагам вязанка, и, оставаясь невидимым, человек этот обращался то ли к купцу, то ли к хлопцам, то ли просто вслух высказывал свое мнение: «А не накладывай столько, не будь жадюгой! Хочешь все товары втиснуть в один воз, чтобы дать меньше мыта за проезд в наш Киев, а там будешь драть с людей три шкуры? Вот и надрывайся тут, на узвозе! Будешь знать, как ехать в Киев! Будешь знать!»

Город нависал над ними мощным валом, подпираемым дубовыми городнями, белые деревянные строения еле виднелись из-за вала, зато каменные здания с крестами и без крестов еще словно бы приблизились, еще сильнее врезывались в небо, а сбоку виднелись еще странные деревянные церкви, тоже с крестами над круглыми крышами. Сивоок уже и не рад был, что послушал Лучука. Зачем им Киев? Жили себе у добрых людей поднепровских, помогали им перетаскивать купеческие лоды через пороги, сторожили, хо-

дили на охоту в боры, тщательно избегая встреч с княжьими ловчими Там господствовал еще прадедовский добрый обычай давать приют каждому, кто появлялся; на Днепре собиралось огромное множество всяких людей, смелых и честных, а главное, таких, которые, будучи вольными сами, умели уважать чужую волю, каждый здесь молился своим богам. Были там и пески и дебри, не было правда такого большого и дивного города, но не было и крестов вон тех, которые переливаются то золотом, то чернотой, от которой сердце стынет. А он никогда не забудет деда Родима, погибшего под крестом.

– Попал бы хоть в один крест? – спросил Сивоок Лучука с нарочитой храбростью.

– Не долетит стрела, – небрежно ответил тот.

Купеческий воз уже проезжал первые ворота. Сколоченные из толстенных бревен, невесть какой силой открываемые и закрываемые, они тяжело висели в проруби вала, словно подстерегая тех, кто пройдет сквозь них, чтобы сразу с оглушительным скрипом закрыться и навеки отрезать путь к воле, как это было когда-то с Сивооком у Ситника.

Но ворота спокойно висели, не закрываясь, воз прокатился дальше, уже и человек с покачивающейся вязанкой хвороста на спине оказался между высокими дубовыми клетями, и только тогда хлопцы заметили, что по ту сторону ворот стоит стража. Два бородатых великана в толстых мисюрках на головах, увешанные толстыми досками, предназначенными

для защиты спины и груди, стояли, опираясь на длинные ко-
пья, и, как казалось хлопцам, смотрели именно на них, рав-
нодушно пропуская мимо себя и купеческий воз, и челове-
ка с вязанкой хвороста. Впечатление было таким неотступ-
ным, что Лучук непроизвольно подвинул свой лук дальше
за спину, чтобы он не бросался в глаза, а Сивоок перебро-
сил свою тяжелую палку из правой руки в левую, но вовремя
смекнул, что это ничего не изменяет в его положении, пото-
му что левый дружинник смотрел на него так же пристально,
как и правый, а в случае чего правой рукой махнуть будет
сподручнее, потому он снова взял палку в правую руку.

Человек с вязанкой хвороста уже миновал стражу, а хлоп-
цы двигались ни живые ни мертвые – давно уже они не ощу-
щали себя такими еще совсем маленькими, как здесь, перед
мрачными бородачами, давно уже не попадали в собствен-
норучно расставленные сети, как вот теперь. Шли, и каждый
мысленно молился своему богу, хотя и не был уверен, что его
маленький добрый лесной или водяной бог может тягаться
с хищным и твердым Богом, который попрыгивал все небо
над Киевом крестообразными знаками своей силы.

Однако сторожа, затиснутые между деревянными доска-
ми у ворот, продолжали и дальше смотреть вниз за ворота,
хотя хлопцы уже проходили мимо них, – кажется, они и не
заметили двух пришельцев, одетых в шкуры.

А хлопцев от испуга бросило в новое недоумение. Пото-
му что сразу за валом города, оказывается, и не было; что-

бы попасть в город, им нужно было пройти еще через деревянный мост, тоже охраняемый стражей, а здесь, на детинце, стояло несколько крепких больших хижин, между которыми бродили точно такие же, как у ворот, бородачи, кое-кто из них сидел на солнышке, другие играли между собой, стреляли из лука, размахивали мечами, разрубая воображаемых противников.

Сивоок и Лучук поскорее помчались следом за человеком с вязанкой хвороста, он тоже, видно, не намеревался задерживаться тут, среди вооруженных, изнывающих от безделья лежней, которым ничего не стоило проткнуть человека копьем или зарубить мечом, лишь бы только хоть малость развлечься.

В самый Киев вели еще одни ворота, окованные железом, черные, будто крылья, какие-то нависающие, так что, наверное, закрывались они сами собой, как только отцепляли цепи, державшие их, а за воротами через глубоченный отвесный обрыв пролегал деревянный мост. Купеческая телега уже погромыхивала колесами на том конце моста, там какие-то ловкачи метали с купца раз и два на мыто. А на этом конце моста, прямо под черными крыльями ворот, стояло еще двое сторожей, но уже не таких, как те, что у деревянных ворот, а закованных в железо, в крепких кольчугах, в острых шишаках, с булатными бутурлыками, закрывавшими руку от кисти до самого локтя, а оружие у них было такое: у одного – широкий обоюдоострый меч, похожий на тот, какой

был когда-то у деда Родима, только короче и, наверное, легче, а у другого – острый шестопер, увесистый, с украшенной рукояткой.

Эти стояли не сонные, а истосковавшиеся, не замечали никого, не смотрели ни на кого, но, когда хлопцам уже казалось, что они незамеченными прошмыгнули мимо разукрашенных железом болванов, тот, что с шестопером, топнул ногой так, что мост загудел, рывкнул:

– Почто не креститесь?

Хлопцы остановились как вкопанные. Бежать вперед все равно было бесполезно, потому что разве найдешь спасение в таком огромном городе, поднявшемся над дебрями и пущами, возвращаться назад тоже не выходило, ибо там было еще хуже: полное дворище вооруженных лежней.

– Кто такие? – сурово спросил тот, что с мечом.

– Мы суть... – Лучук хотел вырваться первым с ответом, но не знал, что говорить, умолк, его выручил Сивоок.

– С гостем прибыли, – сказал он спокойно, – проехал он на торг.

– Ишь ты, сопляки, уже с гостем, – незлобиво промолвил тот, что с шестопером. – Ваш гость разве поганин, что не креститесь?

– Не умеем, – мрачно сказал Сивоок, – имеем своих богов.

– Покажу тебе, – подошел дружинник к нему и схватил его за правую руку, чтобы поднять ее для сотворения крестного знамения.

Но руку Сивоока тянула вниз тяжелая дубовая палица, так что дружинник с трудом мог приподнять ее вверх.

Забыв и о крещении, он ухватился теперь за палицу, попытался выдернуть ее из руки Сивоока и даже крикнул от натуги.

– Чудной силы отрок, – сказал он и оттолкнул Сивоока. – Иди себе, поганин!

Лучук, вобрав голову в плечи, проскользнул за спиной Сивоока, шепнул, сдерживая нервный смех:

– Знал бы этот олух, как стреляю. Попал бы ему сквозь глазок его кольчуги прямо в пуп! Гы-гы!

– Заткнись! – сурово сказал Сивоок, потому что они входили уже в Киев.

Если же говорить правду, то не они вступали в Киев, а Киев наступал на них, спускался со своих холмов, ошеломлял, приводил в изумление. Их удивляло, как могло вместиться на таком скупом лоскуте земли столько строений, столько люда, столько движения, гомона, клокотания. Кто-то куда-то шел, торопился, а кто и просто стоял, созерцая божий свет; скрипели возы, ржали кони на торжище, звонко сплескивалась в глубокие колодцы вода из переполненных ведер, пахло стружкой и дымом, тюкали топоры, мудрили над камнем зиждители, повсюду толпился люд торгующий, строящий, гуляющий, работающий – вот чем окружал Киев своих пришельцев.

Сивоок продвигался вперед, будто лунатик, не чувствуя

могучей деревянными кругляками улицы под ногами, не видя ни просторных дворов с белыми деревянными строениями, ни больших и маленьких церквей, тыкавших ломаными пальцами своих крестов в необозримые просторы весеннего неба, ни княжеского каменного терема, который стоял у самого края Киевской горы, будто желая поймать своими замысловатыми окошками все ветры с Десны и Днепра, – перед глазами у хлопца, застилая весь свет, стояло только одно: каменные громады, розово-серые, широкие и стройные одновременно, необозримые в своей огромности, так, будто собрали они в себе весь камень Русской земли, а одновременно воздушно-легкие, словно озаренное солнцем облако. Некогда острые камни теперь сгладились, а кое-где внезапно расступились, создавая причудливые оконца-просветы, или изгибались мощными луками, похожими на вечно застывшие волны, поднятые над землей дивными силами. И над этим умиротворением и покоем кругло возвышались четыре меньших и пятая, самая большая и высокая, очаровательные шапки-крыши, а на каждой из них плавал в золотом озере неба похожий на цветок крест, и все пять крестов заплетались в движущийся круг сияния, и не было в них ни корявости, ни черноты, ни испуга. Так, бредя во внезапной своей ослепленности, Сивоок натолкнулся на какого-то человека и остановился, со смущенной улыбкой проводя по глазам ладонью.

– Бесноватый еси? – закричал человек, и только тогда

Сивоок возвратился на твердую землю и увидел возле себя светловолосого бородатого мужчину в расстегнутом на груди корзне и расхристанной, так что видна была потная, поросшая светлыми волосами грудь, сорочке, в откуда-то знакомых истрепанных портах и изношенных лаптях, тоже почему-то словно бы знакомых. Тогда он посмотрел еще и увидел вязанку хвороста, лежавшую у ног мужчины. Это был тот самый человек, следом за которым они шли в город. Остановился передохнуть.

– Хотели на вас крест положить? – оживленно подергивая бородой вверх, спросил мужчина.

– А ты что, видел? – полюбопытствовал Лучук.

– Отчего бы и не видеть?

– Как же?

– А вот так.

И мужчина быстро согнулся, снова заняв положение, как с хворостом на спине, и посмотрел на хлопцев снизу, сквозь широко расставленные ноги. Лицо его налилось кровью, глаза помутнели.

– Головами по небу ходите, – закричал, не изменяя положения, человек, – а на ногах у вас земля!

– Зачем такое вытворяешь? – засмеялся Лучук.

– А любо мне так. – Человек выпрямился, снова подергал бородой. – Много люда плывет в Киев, все его видят одинаково, а никто – как я!

Сивоок, казалось, совсем равнодушно воспринял причу-

ды и разглагольствования нового знакомого. Был озабочен другим.

– Что это? – спросил глухо, указывая одними глазами на огромное каменное сооружение, поразившее его безмерно.

– Это? – Человек даже не посмотрел туда. – Церковь Богородицы.

– А что это – Богородица? – вмешался Лучук.

– Та, что родила Бога. Звали ее Дева Мария. Но она не выше Бога, потому как Бог самый высший и всемогущий, ему поклоняемся. А Богородице ставили церкви. И в Корсуне, где наш князь Владимир крестился, церковь Богородицы, и в самом Царьграде, и всюду – самые большие. А ставили их гречины, наш люд таскал камень из земли Древлянской, а мастера греческие зиждили и изнутри украсили иконами, крестами, сосудами, взятыми князем Владимиром из Корсуны, а еще красотой невыразимой.

– Да ты все тут знаешь! – воскликнул Лучук. – А почто хворост тянешь в город? Разве тут дерева мало?

– Дурень еси, – незлобиво засмеялся человек, – не видел, что несу. А несу деду Киптилому хворостища отборные из сорока кустов по сорок прутьев, есть прут зеленый, а есть серый, а тот красный, и белый, и желтый есть, и есть такой, как змея, а есть в чешуе, будто рыба, и древесина в одном хрупкая, а в другом маслянистая, а в третьем каменная, а в четвертом... И дым неодинаковый от каждого, и запах тоже неодинаковый... А дед Киптилый делает копченья для само-

го князя и для бояр да воевод и мне, грешному, как принесу ему хворостища, поднесет копченья, а я себе пойду на торг да возьму пива и меду.

– Почему же сам не коптишь мясо, ежели знаешь все хитрости? – допытывался Лучук, у которого вмиг засверкали глаза, он уже представил себе совместную работу с этим человеком, готов был поставлять ему дичь, а тот лишь бы только коптил ее на своих сорока дымах...

– А еще нужно сорок трав сухих, а у них неодинаковые стебли и цветы, а у одних смола свежая и пахучая, а у других темная, а у третьих только Божий дух, – кичился человек своей умудренностью перед диковатыми пришельцами, – и пахнет тогда копчение так, что слышно и за пять бросков стрелы.

– Спрашиваем, почему же сам не коптишь? – встрял в их разговор и Сивоок, не отрывая тем временем взгляда от церкви Богородицы.

– А неохота, – блаженно вздохнул человек. – Так я себе потихоньку собрал хворостища да принес их в город, а по дороге насмотрелся, как люди ходят головами по небу, а ногами увязают в тяжелой земле, да потом отдам деду Киптилому хворостища да получу кусок копченки и пью пиво и мед целый день на торгу, аж пока свет пойдет кругом, кругом, кругом, и уже не отличишь, где земля, а где небо, где город, а где пуца, где церковь, а где идола... А ну-ка поддай! – внезапно толкнул он в плечо Сивоока. – Понесу, по-

тому как пора уже. Пошли к деду Киптилому, будет и вам по куску копченки, а что такой не отведаете нигде, как в Киеве, то уж поверьте мне на слово!

– Нет, мы вон туда, – подавая ему вязанку, сказал Сивоок, – церковь посмотрим, ибо никогда такого не видели. Дивная еси очень.

– Не увидите такого нигде, – согласился человек, поглядывая на хлопцев сквозь отверстие между своими широко расставленными ногами в изорванных портах и изношенных до основания лаптях. – А я на торгу буду.

Он побрел, меся желтую глинистую грязь, а хлопцы очутились в бешеном водовороте Бабьего торжка, где Лучук сразу же разинул рот и готов был на каждом шагу застывать от удивления, но Сивоок упорно тащил его туда, где над высокой деревянной оградой мощно изгибались каменные луки невиданной церкви. Правда, и он не мог удержаться от искушения и остановился, чтобы посмотреть на чудных медных коней, что мчались из-за ограды, от самой церковной стены, огромные, взвихренные, дико прекрасные кони, запряженные в легкую колесницу на двух высоченных колесах; на узкой перекладине колесницы стоял могучий голый, тоже медный человек с венчиком круглых лепестков вокруг чела, а рядом, стараясь достать руками повозку, бежал еще один медный и голый, но с измученным, перекошенным от изнеможения лицом, и все мускулы на его теле были напряжены до предела, в то время как у того, что стоял на колеснице,

тело мягко округлялось выпуклостями, сверкало спокойной красотой.

«Бог и служба, а может, князь и раб?» – подумал Сивоок, которому стало чуточку жутко от широкогрудых медных коней, что, казалось, летели прямо на хлопцев, чтобы потоптать этих незваных пришельцев в самый великий город княжеской славы и силы.

А вдоль ограды, выплывая из-за розовой громады церкви, сладко растекаясь в тугом воздухе, понеслось густое «бом-м!», и к нему присоединился звон более высокого голоса, с серебристым оттенком, – «дзинь», и уже они слились воедино и полетели над Киевом весело и неудержимо, торжественно, напевно: «Бом-дзинь! Бом-дзинь!» – и ударились о медных коней и медных идолов, и еще сильнее зазвучали медью, еще яснее и призывнее, и тогда Сивоок побежал вдоль ограды, не выпуская руки Лучука, потому что хотелось ему как можно скорее очутиться там, откуда доносился звон, где рождались эти дивные звуки, от которых церковь, казалось, подыметя сейчас с земли и тихо понесется в голубую безвестность.

Они добежали до ворот с высокими деревянными столбами, в ворота валом валили люди, никто не охранял этого входа, хотя, казалось бы, вот где именно нужно ставить самую зоркую стражу, а над воротами, между высокими столбами, на массивных четырехугольных брусках, спрятанные от непогоды под деревянным, красиво вырезанным навесом,

тихо покачивались два колокола из темной меди, один больший, другой чуточку меньший, смотрели вниз на людей широкими раструбами, в которых колотились тяжелые железные языки, колотились словно бы сами собой, никто не замечал тонких белых веревок, тянувшихся от языков куда-то вниз, никто не думал о том, что кто-то там где-то подергивает за эти веревки, слишком торжественным и необычным было все, что творилось высоко вверху: тихое метание неистовых языков и сладкие голоса самозвонных колоколов.

Люди снимали шапки, Сивоок и Лучук сделали то же самое, спрятав шапки в мехи. Все крестились, тыкая сложенными кончиками трех пальцев правой руки в лоб, в живот, в правое и левое плечо, но хлопцы не умели это делать, да и не ведали, зачем это делается. За воротами, на ровной, как стол, площади, стояла церковь Богородицы. Хотя церковь была совсем близко и ничто ее не закрывало, она не казалась теперь такой великой, как прежде, легко охватывалась взором, было в ней так много игрушечного, что невольно думалось: протяни руку – и поднимешь все каменное сооружение на ладони. Может, они, вместо того чтобы приблизиться к церкви, все время отдалялись от нее и теперь она только грезится им? Войдя в ворота, Сивоок совершенно произвольно начал считать шаги, нарочно ставя ноги как можно шире. Насчитал сорок, церковь все так же стояла, открытая для глаз со всех сторон, сохраняла свою легкость и разукрашенность; он считал дальше, снова дошел до двадцати, и только тогда

церковь словно бы взметнулась вверх и заструилась до самого неба, так что нужно было задирать голову, чтобы увидеть самый высокий крест на ней, а там брызнула она и в стороны, разметалась каменными крыльями шире, шире, шире, и когда он дошел в счете еще раз до сорока, они оказались уже у входа в это чудо.

Двери были высокие и широкие, резной камень украшал их с боков и сверху. Сивоок засмотрелся на хитрую резьбу и не видел калек и нищих, обступивших вход, не видел протянутых умоляющих ладоней, обращенных к нему, не видел перекошенных страданием лиц, слепых глаз, кровоточащих ран, зловонных язв, не видел грязных лохмотьев, сквозь которые светились ребра, не слышал смрада. Зато Лучук все видел и слышал, вертелся среди попрошак и калек, ему было жаль их, и одновременно он был зол на них, потому что когда-то сам гнил в таком рубище, сам был еще изможденнее этих ходячих костяков, сам готов был протягивать руку. Но ведь вырвался на волю! А кто их привязал здесь, возле этих высоких дверей? Или тут такой уж мед и такое блаженство?

В церковь Лучука не пустили. Уже у самых дверей чья-то цепкая рука потащила его назад, а в оба уха сразу злобно зашипели сквозь зубы:

– Куда, поганец, в святой храм оружный?

Сивоок, видно, спрятал свою палку под корзно, потому что его никто не задержал, и он, переступив высокий каменный порог, нашел там совершенно новый для себя, неждан-

ный-негаданный мир. Пахучий дым, сизый, как соколиное крыло, окутывал его со всех сторон, золотое мигание свечей звало куда-то в неизведанные глубины, высокие стены вишнево расступались шире и шире, безбрежно расступались в сизо-вишневом мраке, открывая то хмурые лики неведомых богов, то туго заплетенные узоры желтого, белого, ярко-лазурного цвета, оставляя в самой середине высокие столбы из дорогого камня, за которыми в звездных россыпях пылающих свечей и в голубом мерцающем свете, струившемся сквозь окна-прозоры, протягивала к Сивооку своего Младенца Мать Божья, вся в поющих красках, вся в блеске и сиянии.

Все вокруг звенело, звучало, пело. Вишнево раздвигались в сизую необозримость высокие стены. На неисчислимых лучах мерцающих свечей к глазам хлопца плыли поющие краски Матери, которая родила некогда Бога, и он тоже поплыл вместе с ними и вдруг вырвался из этого мира самозвонных колоколов, кадильного дыма, невидимого пения и хитрых рисунков и очутился в днях своего детства, озаренного багровым огнем Родимова горна, украшенного красками, выплывавшими из пальцев деда Родима и ложившимися не на глиняные сосуды, не на добрых и веселых скудельных богов, творимых стариком, а на детскую душу и в детское сердце.

Словно незримая сила подняла его над всеми людьми, заполнившими храм, над облаченными в золотые одежды священниками, над пением и проповедями в честь Бога, кото-

рый, явив хлопцу когда-то свою жестокость, теперь поражал благолепием, над словами, промолвленными и затаенными; он не знал, где он и кто он, забыл обо всем на свете, ему хотелось плакать, как давно когда-то на темном шляху, но плакать уже не от страха и безнадежности, а от восторга перед тем буйно-дивным миром красок, который он носил в себе, но не знал об этом, а открыл только ныне, только здесь, в сизо-вишневых безбрежностях поющего, сверкающего храма.

Пяťась, он вышел из церкви, закрыв глаза от яркости голубого киевского дня, не хотел терять найденных богатств, крепко прижимал скрещенные руки к груди, так, будто там были у него все краски, щедро подаренные когда-то малышу дедом Родимом и выхваченные теперь Сивооком из вишневого святилища, собранные между мерцающими огоньками свечей, сумрачным свечением глаз святых, тугими узорами стен и столбов, буйным кипением звуков, в которых переплетались велеречивые молитвы, самозвонные колокола и напевный гомон всего окружающего.

– Дубину свою прижимаешь? – крикнул Лучук Сивооку, тормоша товарища за плечо, потому что тот никак не мог прийти в себя: выйдя из церкви, он остановился среди калек и нищих и не выражал видимой охоты заговорить первым.

Сивоок не похвалился тем, что увидел. Молча стоял, охваченный восторгом, жил в мире детства и чувствовал, что только там настоящая его жизнь. И снова до боли хотелось плакать, но вокруг сверкал день, его окружали люди, присут-

ствие которых он ощущал, хотя еще и не различал их толком; два жестоких года странствий с Лучуком приучили его к умению скрывать свои чувства от посторонних глаз, держать себя в руках; для своих четырнадцати или пятнадцати лет он выглядел намного мужественнее, а только в душе оставался ребенком, его сердце было пронизано красками, но никто этого не должен знать, все равно ведь никто не поймет и не поверит.

– Мне сказали: оружным не велено, – продолжал Лучук с видимой обидой в голосе.

И лишь теперь Сивоок наконец начал возвращаться на землю, отчетливо увидел калек и нищих, юродивых и бесноватых, увидел обиженную рожицу товарища, ему жаль стало Лучука, захотелось, чтобы и тот ощутил то же самое, что ощутил он сам; Сивоок заговорщицки отвел побратима чутьчку в сторону, дальше от гама и сутолоки, предложил:

– Дай поддержку лук и стрелы, а ты пойди посмотри.

– Не хочу, – ответил Лучук.

– Правда, посмотри, – настаивал Сивоок, – диво великое там. Нигде на свете такого не узришь.

– Э, да брось ты свою церковь! – отворачиваясь от входа, который издалека еще больше привлекал своей таинственностью, закричал Лучук. – Пошли лучше на торг!

– Если б и ты побывал там внутри, – мечтательно промолвил Сивоок.

– Хватит и одного из нас! – уперся Лучук. – А мне хочется

на торг. Есть хочу и пить. А ежели хочешь, то еще раз пойдн в церковь, а я подержу твою дубину, чтоб не носил ее под козном. Тяжела же она, ей-же-ей!

Сивоок молча пошел к воротам, над которыми вызванивали медные колокола. От разговора сам раскачивался, подобно колоколам, боялся, что вместе с пустыми словами вытряхнется у него из сердца все то, что так неожиданно-негаданно вошло в него, поэтому без лишних слов удовлетворял желание Лучука; они прошли под колоколами, возвышавшимися над воротами, по протоптанной бесчисленным множеством ног тропинке пробрались вдоль ограды к тому месту, где летели из-за нее медные кони, и свернули на главный киевский – Бабий торжок.

Давка, крик, конское ржание, скрипение возов, выкрики вооруженных всадников, клекот разных голосов и разных языков, гоготанье и кудахтанье птицы, визжание свиней, звяканье и бречанье, цоканье и бормотание, брань и свист, топот и визг, пение и гусельное гудение, запахи скоры и меда, заморские ароматы и дурманящий дух жареного мяса, неистовая пестрота земли, вод и дебрей, проклятья и лесть, угрозы и мольбы, хвастовство и уныние, а над всем – вранье, обман, плутовство, на́ те, убоже, что мне негоже, ежели не я тебя, то ты меня... Но хлопцы были еще слишком неопытны, слишком мало еще они терлись среди хитрого городского люда, чтобы постичь все многообразие торга и проникнуть в его глубочайшие основы. Их закрутило, заверте-

ло, подхватило течениями, они тоже разевали рты, тарасили глаза, щупали пальцами, нюхали, пробовали, отведывали, торговались, их тоже толкали, дергали, приглашали и прогоняли, и они чувствовали себя то богачами, готовыми купить все, что видят глаза, то несчастными лесовиками, которым никто не уступит и куска хлеба. Они слышали о киевском торге, еще и не будучи здесь, были приготовлены ко всему, но не к такому. Они то задыхались от невыносимой давки, от испарений мокрой и грязной одежды, от сладковатого запаха вспотевших тел, то им вдруг хотелось еще глубже проникнуть в дикий людской водоворот, и они бросались туда стремглав, как в воду, и затем с трудом выбирались на волю, отфыркиваясь и встряхивая головой. Их носило по торгу туда и сюда, крест-накрест, и в бурной неразберихе кружило так, что невозможно было разобраться, где одесную, а где ошуюю, и так в неистовом блуждании очутились они возле возков, накрытых потемневшими от непогоды будками, и возов открытых, старых и еще совсем новых, возле которых хлопотали шустрые медовары и пивовары, вынимали затычки из новых и новых бочек, подставляли ковши и чаши под тугие струи напитков, подносили питье толпившимся вокруг торговым людям, умело прятали плату в прочные кожаные мехи или в замысловатые деревянные сундуки под собой, а вокруг чернели открытые рты, посверкивали белые зубы, макались в густые меды черные, рыжие и русые бороды и усы, текло по бородам, попадало в рты и не попадало, и

свет тут шел в круговорот, свет тут был веселый, беззаботный, добрый и щедрый.

– А ну-ка! – крикнул кто-то хлопцам, как только их затянуло в веселый круг. – Меду или пива?

Они и опомниться не успели, как очутились рядом с дровосеком, который держал обеими руками огромный деревянный ковш, наполненный зеленоватым густым напитком, плавал в нем усами и бородой, пускал пузыри, отрывался на миг, чтобы крикнуть что-то веселое и глуповатое, снова прикивал к ковшу.

– Пива дай отрокам! – велел он кому-то возле бочек, и тот «кто-то» мигом сунул обоим в руки по изрядной кружке просяного пива, а дровосек одной рукой развернул свой мех, показал кусок копченки, надломленную ковригу хлеба, подмигнул: берите, мол. Лучуку не нужно было повторять приглашение, он вынул нож, отрезал два куса копченки, один дал Сивооку, а в другой мигом вцепился зубами, потом отпил большой глоток пива, засмеялся, подпрыгнул от удовольствия:

– А вкуснота-то какая!

Сивоок молча ел, осторожно попивал из кружки. Вновь перед глазами у него встала церковь Богородицы, он снова был среди вишневого мрака, в свечении красок его родной земли, его неомраченного детства.

– Где были? – кричал дровосек, хотя стоял рядом.

– В церкви, – пробормотал Лучук. – Сивоок все видел. И

медных коней с двумя идолами голыми видел. И колокола. Скажи, Сивоок.

Сивоок молча жевал мясо.

– Не было здесь ничего, – ближе придвинулся к ним дровосек. Он вытер усы и бороду, лицо его снова обрело хитрое выражение, как тогда, у ворот; веселое опьянение начисто исчезло. – Когда я был таким малым, как вы, а может, немного больше или меньше, кто же знает, какие вы есть, так не было в Киеве церквей, а на том бугре, где теперь деревянная церковь Василия Святого (потому как князь Владимир, приняв крест, взял себе имя Василий, как у ромейского императора), – так там когда-то стояли наши боги. Перун, целый из бревна, привезенного из дубравы приднепровской, а голова у него серебряная, а ус золотой, и еще были Хорс, Дажьбог, Стрибог, и Симаргл, и Мокош. Поклонялись им киевляне, плясание, пение творили, зелье несли к богам, яства и пития вельми и справляли праздники великие на бугре возле богов, тогда было великое чревоугодие, и может, и наши боги наедались и напивались еще больше, чем мы, потому как веселые это были боги, а что уж мудрые – и говорить не приходится! Ну а в какое-то там лето пошел князь Владимир на ятвягов, и побил их, и пришел с дружиной в Киев, и было великое веселье и поклонение богам нашим, и люду сошлось видимо-невидимо, и все были такие, как вот я теперь и вы. А мне было, почитай, столько, как вам, лет, а может, меньше, а то и больше, потому как и вы, вишь, один мал да невзрачен,

а другой – как молодой тур, разве тут разберешь. Пировали, пили и есть богам нашим давали. А там, где теперь стоит церковь Богородицы, был тогда двор великий варяга Федора. Купцы к нему приезжали из Царьграда и из далеких восточных стран, богатый был вельми варяг, нажился в Киеве, двор построил возле княжьего терема, собирал меха, серебро, золото, выпестовал сына, красивого лицом, сильного и белотелого. Молились они своему Богу, никто их не трогал, потому что люд у нас добрый. А как увидел варяг Федор наше поклонение богам, да наше пиршество, да наше веселье, так стал с сыном у ворот да подбоченился, да начали они язвить и насмешничать. «Кому требу отправляете, перед кем поклоняетесь? Поганины глупые да опившиеся! Не суть же боги, но древо. Днесь есть, а наутро сгниет. Даете им еду и питье, а они же не едят, обращаетесь к ним, а они не слышат, ждете от них речи, а они не говорят, потому как суть сделаны руками в древе. А Бог един есть на свете, Ему поклоняются греки и варяги, а кто не поклоняется нашему Богу, тот дикий поганин и варвар». – «А ну-ка помолчите, варяги! – прокричали наши вои. – У вас бог свой, а у нас свои, и не дадим их никому!» А варяги знай продолжают издеваться да насмехаться и ругать наших богов за то, что они деревянные и немые, а всех нас обжорами да пьяницами дразнить. Тогда не стерпели наши, а поелику люду было тьма-тьмушая, и весь холм с богами нашими запрудили, и возле княжьего терема, и возле дворов, и на торгу, да и около варягова двора

тоже, то и бросились все как были, кто с оружием, а кто и так, с пустыми руками, и разметали весь двор варяга, а тот и дальше насмехался, только взобрались они с сыном на высокую вежу деревянную на дубовых столбах да взяли мечи варяжские обоюдоострые и начали приглашать, есть ли кто охочий подняться к ним да отведать их подарка. И похвалялись, что их бог сильнейший и не даст и волосу с их головы упасть, а наши боги – это просто тьфу! Тогда прискочило еще больше люду и вмиг подрубили столбы под вежей, и обрушилась она, и упали варяг Федор со своим сыном Иваном вниз, а там их ждали копья, и мечи, и рогатины. И убили их, и следа не оставили. Потому что нельзя смеяться над людом и над его поклонением.

– А сами теперь поклоняетесь греческому Богу, – сказал Сивоок.

– Не все, – хитро прищурил глаз дровосек. – Когда князь велел повергнуть всех наших кумиров, изрубить их и сжечь, а Перуна привязать к конскому хвосту и волочь вниз к ручью, а потом бросить в Днепр, то кто и рубил да жег, кто и волочил Перуна да бросал его в Днепр, а много люду стояло и плакало, и бежали вдоль Днепра, и кричали: «Выплывай! Выдубай!» А когда крестился князь и бояре, а потом окрестил князь двенадцать своих сыновей, то и киевляне окрестились, потому что думали так: если бы это было что-то недоброе, то князь и бояре не приняли бы. А князь принял крест, когда пошел на греческий город Корсунь. Бога-

тый вельми и пышный город, и не мог его взять князь ни приступом, ни осадой, и тогда, говорят, помолился нашим богам, и сказал, что ежели падет перед ним Корсунь, то примет он веру христианскую. И, мол, корсунянин Анастас пустил к князю стрелу, а на той стреле написал, где нужно копать, чтобы не пустить воду в город, и князь велел копать, и нашли трубы водные и закрыли их, и Корсунь пал. И вывез князь из Корсуня попов и Анастаса Корсунянина, и коней медных, и двух идолов нагих, и много серебра, золота, церковных сосудов, и колокола, и паволоки. А сам крестился в Корсуне в церкви Богородицы, потому и в Киеве велел построить церковь Богородицы, и на том самом месте, где стоял когда-то двор варяга Федора, который насмеялся над нашими богами. Люд же знает, что князь принял новую веру не через клятву, а через жену. Очень уж захотелось ему взять в жены сестру ромейского императора Василия, а император сказал, что не выдаст сестру за поганина, а выдаст только тогда, когда князь примет крест, как приняла его бабка, княгиня Ольга. Кто знает, почему княгиня приняла чужого бога, а про князя это известно всем. Потому как неудержим он в похоти к женщинам, ненасытен в блуде, велит приводить к себе мужних жен, и девиц растлевает, и наложниц имеет в Вышгороде триста, и в Белгороде триста, а в сельце Берестовом двести. И сыновья его все не от одной жены, а так: от варягини, и от грекини, и от чехини. А что князь...

Дровосек оглянулся, наклонился к хлопцам, перешел на

шепот:

– Стар теперь стал и ослабел... Велит церкви ставить... Да камень добывать твердый, как алмаз, чтобы искру давал, как агат...

– Краса великая, – сказал Сивоок, вздыхая.

– Но нудный Бог вельми, – поморщился дровосек и отхлебнул из своего ковша.

– Даже не верится, что такая красота, – повторил свое Сивоок.

– А копченка у тебя вкусная, – чавкая замасленными губами, произнес Лучук, – никогда еще не пробовал такой.

– Это дед Киптилый. Для князя коптит на моих травах и моем хворосте. А не празднует дед княжеского Бога тоже. Нужно есть и пить – вот тогда бог. А тут одно пение да лепота. Нудно.

– Вот так и мне! – воскликнул Лучук. – А ему, – он ткнул рукой, в которой держал обглодок копченки, в Сивоока, – ему лепота нужна. Он из пущи цветок носил. Чуть не пропал из-за этого цветка.

– А кто медведя убил? – исподлюбья взглянул на него Сивоок.

– Ну ты, но ведь цветок...

– А кто второго медведя убил? – снова спросил Сивоок.

– Если бы я встретил, то и я убил бы. Прямо в глаз медведю могу попасть! Меха кто добывал? Вот возьму и подарю нашему другу бобровую шкуру.

Он полез в свой мех, долго перебирал там пальцами, выметнул темно-бурый, с седым отливом мех, встряхнул им на солнце, подал дровосеку:

– На!

Сивоок, чтобы не отстать от товарища, тоже бросил два дорогих меха.

– Бочонок меду! – закричал дровосек. – Не умерли наши боги! Бочонок меду на всех!

Сбежались все, кто еще держался на ногах, кто еще не утратил способности слышать и понимать. Но дровосек растолкал всех, гордо вышел в центр круга и торжественно объявил:

– На спор! Кто хочет, становись туда. Кто сникнет после третьего ковша, бит будет всеми – лучше не берись. Ну-ка, взяли!

Вперед протолкалось сразу несколько верзил, потом к ним присоединился косолапый человечиска, подъехало пятеро всадников, и самый толстый из них, увешанный драгоценным оружием и причиндалами, молча слез с коня, встал первым среди охочих к состязанию, рывкнул на медовара:

– Дай-ка промочить в горле!

А когда тот налил ему огромный серебряный ковш и подал, пузатый вылакал мед тремя мощными глотками, ошестинился на медовара:

– Не знаешь разве, что одним не промачивают!

Успокоился только после того, как осушил три ковша, по-

вернулся к своим противникам, окинул их недоверчивым взглядом.

– Сидя или стоя? – спросил.

Дровосек подскочил ему под руку, гордо выпятил грудь:

– Как я захочу!

– Пить научись, хотеть всяк болван может! – небрежно отстранил его пузатый и распорядился: – Сидя! Потому как стоячий чует невыдержку и либо бросает пить, либо и вовсе удирает. А уж ежели сидит, так не поднимется. Начали! А то холодно. Не греет этот мед. Разве нет лучшего на торгу?

– А отведай этого, твоя достоинность, – поднес ему медовар новый ковш.

– Разве что отведать, – надул пузатый толстые щеки, между которыми плавали где-то в глубине голубые лужицы глаз, – ибо сколько лет на белом свете прожил, но еще нигде ничего и не выпил, все только лишь отведывал да пробовал.

Этот хвостун чем-то напоминал Сивооку его недавнего недруга Ситника, с той лишь разницей, что был, пожалуй, крупнее да толще, и не лоснилось потом его лицо, да голос был не сладковато-украдчивый, как настоянный мед, а грозный, жирно-презрительный, забиячливый.

– Кто это? – украдкой спросил он у дровосека.

– Купец наш Какора, – гордо ответил тот, – среди иностранных гостей, может, один наш, зато вон какой! Ходит и в чехи, и в угры, и в самый Царьград! Не боится ничего на свете! А уж пьет!

Купец осушил ковш, крякнул, вытер усы, швырнул медовару огромный кожаный кошелек.

– Закупаю весь мед, потому как вкусный вельми и хмельной. Наливай всем, да начнем!

Медовар наполнил ковш, принялся подавать, начиная с купца; все мигом присасывались к питью, только один пучеглазый губатый мужик в засаленном корзне, подпоясанный обрывком, сморщившись, держал ковш в одной руке и не пил.

– Почему не пьешь? – переводя дыханье после меда, гаркнул купец.

– А я не привык хлебать по-собачьи, – сильнейшим басом рывкнул тот в ответ, – мне уж ежели пить, так чтоб круглоточная чаша деревянная да чтобы в ней кулаком свободно проверить можно было. Вот это по мне!

– Имеешь чашу? – спросил купец медовара.

У того, видно, было даже птичье молоко. Он мигом достал из будки почерневшую от долгого употребления деревянную круглую чашу, в которой, казалось пучеглазому, поместился бы не только кулак, но и целая голова, нацедил меду, подал привередливому выпивохе.

Тот схватил чашу обеими руками, приник к ней, как волк луже, а пить изловчался странным образом, так, что чаша закрывала его лицо, глаза же словно бы разбежались в разные стороны и вытаращенно сверкали из-за деревянного дна – и получалось: морда из черного старого дерева, а на ней

живые буркалы!

Пока деревянномордый доглатывал свою порцию, медовар поднес остальным еще по ковшу, и все было выпито быстро и лихо, отличались пьяницы друг от друга лишь внешне, лишь одеждой, да еще тем, как вели себя после осушения ковша. Один хукал сложенными трубочкой губами вверх к небу, другой кончиками пальцев разбирал по волоску намокшие в меду усы, третий похлопывал себя по животу, косолапый человечиска с реденькими волосиками на голове (странная измятая шапочка свалилась у него от первого чрезмерного наклона головы) слюняво разевал рот и полными слез глазами смотрел на медовара, словно бы раздумывая: подаст ли тот еще, поднесет ли снова?

Лишь купец после каждого ковша издавал разнообразные звуки, похожие то на ржание жеребца, то на рыканье дикого зверя, то отрывисто хохотал то ли от удовольствия, то ли просто чтобы чем-то выделяться среди молчаливой братии, а получалось так, что он только раздувал грудь, готовясь к большему, потому что после третьего ковша вдруг ревнул к своим соперникам:

– А что, будем пить или еще и похвалиться? Аль понемели? Или языки в меду завязли?

– Будем похвалиться, будем! – тонко взвизгнул косолапый мужичонка и засмеялся как-то странно и жалко, будто поперхнулся водой. – Пр-с-с-с!

– Питие люблю! – закричал купец. – А еще жен вельми!

В питии могу день и ночь, и два дня, и десять дней быть, а с женами и того больше!

– А до князя нашего далеко тебе, – кольнул дровосек, который тоже не отставал от остальных и попивал медок, причмокивая да поахивая.

– Ты? – удивленно взглянул на него купец. – Кто ты еси такой, чтобы меня?.. Да знаешь ли ты, что у меня жены всюду – и на Руси, и в Польше, и в Чехии, и у угров, и в Царьграде, и в Биармии, и у печенегов. Кто из вас пробовал печенежскую жену? А? Никто? То-то и оно! Жена твердая, силу имеет мужскую, из лука стреляет и джидой бьет без промаху. А сама горяча! Гух! Жену нужно уметь взять. Она не любит зайцев, на нее нужно туром идти! Гух-гух!

Он уткнулся в ковш, чем воспользовался сидевший первым справа от купца; мгновенно поставил ковш на землю, чтобы высвободить руки, и, смешно «екая», закричал:

– Ек ходили мы с князем на ятвягов, так князь меня и просит: «Покажи воям зеленым, ек ты бьешь своим копьем!» А е ему... – Екало все пытался показать руками: и как он шел с князем на ятвягов, и как князь его позвал, и как говорил, и получалось еще смешнее от этого беспорядочного, глуповатого размахивания длинными руками. – А е ему, значит, не говорю, а покажу сначала князю, а всем тоже покажу... Да ек побегу на ятвягов, да ек нанижу на копье одного, и другого, и третьего, – девять ятвягов на одно копье, и держу его, ек княжеский флажок, а после, значит, молодому вою, забираю

его копьё, а ему даю свое с девятью ятвягами и говорю – не говорю, а показываю, что ты держи копьё с девятью ятвягами, ек е держал, а е еще поколю и еще нанизал...

– Сколько? – крикнул купец. – Сколько ты там нанизал? Все равно меньше, чем я жен имел: потому что жены...

Но тут косолапый жалкий человечиска, видно, решил, что настало и его время вмешаться в похвальбу; он махнул ковшом и, прерывая купца, зачавкал:

– Так он меня хотел, а е его... Пр-с-с-с! – начинал со середины, видимо, продолжая ему лишь известное приключение: никто не мог понять, о чем идет речь, да никто и не стремился к этому, ибо квелое чавканье человечка и не слышно было, разве что Сивоок, стоявший совсем рядом, мог взять в толк. – А е его тогда... А он меня только, а е его... Пр-с-с-с!

– Цыц! – гаркнул купец. – Когда я говорю про жен, все должны молчать. Как воды в рот. Ибо жены...

– Каких у тебя больше, чем у князя Владимира, – подбросил снова дровосек, но купец не обратил внимания на шпильку, оставил вмешательство дровосека в разговор без внимания, громко отхлебнул из своего ковша. А его место в похвальбе сразу же заполнил новый пьяница, мешковатый мужчина, одетый небрежно, однако весьма добротнo, с большим ножом на поясе, украшенным серебром, серебром же были отделаны и ножны для ножа, а рукоять ножа красиво изукрашена резьбой.

– Меч дома оставил, – откашливаясь, произнес мешкова-

тый, – а то бы показал, что могу. А могу так. Дику голову отсечь не размахиваясь, а туру одним махом... В пущу иду с одним мечом, другое оружие мне ни к чему. И конь не нужен... Один меч... А мечом тридцатилетние дубки срубаю... Вот так: раз – и готово!

– А я не так люблю пить, как закусывать, – подал голос из-за своей деревянной личины пучеглазый, смачно посасывая мед. Он обладал удивительным умением не только выглядеть из-за чаши своими глазищами, но еще и говорить, не прекращая питья. – Мог бы целое озеро выпить, ежели закусывать. И чтобы мясо. Люблю мясо! Кто любит жену, кто на печенегу идет, а я люблю мясо! Если бы даже целого дика зажарили – одолел бы его! А ты сидишь возле человека, видишь его муку, сам имеешь в меху копченку и помалкиваешь!

Он вслепую потянул руку к дровосеку, выкатил в его сторону свой неистовый глаз. Дровосек оттолкнул его руку.

– А дудки! – воскликнул таким светлым голосом, словно бы и не пил еще ничего. – Не коси глаз на чужой квас! На чужой каравай рот не разевай!

Пучеглазый захлебнулся медом, торопливо оторвал чашу от расквасистых губ.

– Жаль тебе? – сказал чуть ли не нищенским тоном.

– А он меня хотел, а е его... Пр-с-с-с! – продолжал свой трудный рассказ заика.

– Только для друзей у меня копченка от деда Киптилого! –

задиристо воскликнул дровосек. – А дед Киптилый мясные яства готовит для самого князя да для меня, потому как без меня – ни с места! Понял?

– Ну, продай, – сказал пучеглазый, – потому как без закуски не могу... Мясо чую еще тогда, как оно в дебрях бе-гает... Вельми мясо люблю... А у тебя такой ведь запах из меха...

– Почто я должен продавать, ежели и сам съем, да еще и мои братья. Вон какие – видал?

Он показал на Сивоока и Лучука, но пучеглазый и ухом не повел в их сторону.

– Променяй кусочек, – канючил он дальше, снова закрыв-аясь чашей и уже подавая голос из-за нее. – Хочешь, на крест променяю?

Расстегнул одной рукой корзно, пустил между пальцами повисший на тонкой тесемочке крестик из дерева воскового оттенка.

– Заморского дерева крест. За телка выменял. Гречину целого телка отдал.

– Почто отдал – лучше съел бы телка своего. Солонины сделал бы, вот и было бы у тебя чем закусить! – потешался дровосек.

– А он меня... а е его... Пр-с-с-с! – Человечек в послед-ний раз пробормотал свой рассказ, не имевший ни начала, ни конца, склонил голову на плечо, выпустил из безвольных рук ковш, пустил слюну из раскрытого рта.

– Скис божий украшатель! – закричал дровосек. – Одного нет. А ну, кто еще!

Сивоок, у которого тоже кружилась голова, хотя выпил он только два ковшика меду и хорошо закусил копченкой дровосека, сначала не понял значения выкрика своего нового товарища.

– Что ты молвил? – спросил он дровосека с напускной небрежностью, хотя его почему-то очень беспокоило то, что именно ответит ему дровосек.

– Про того? – ткнул тот пальцем на человека, который на чисто раскис и уже слег на левый бок, и казалось, умер от страшного мора, который сводит судорогой все члены, перекашивает лицо. – Величайший умелец князя. Все церкви князю сделал. Тридцать и две церкви уже возвел. Исхитряет богов и чудеса всяческие, а пить они ему не помогают. Тщедушные боги. Ге-ге!

Сивоок ушам своим не поверил. Как же так? Да может ли такое быть? Чтобы этот жалкий человечешка имел что-то общее с тем дивным миром, в котором он только что был и из которого, чувствовал теперь совершенно отчетливо, уже никогда не сможет выбраться? В момент, когда они с Лучуком пробирались в Киев, этот город представлялся Сивооку совсем не таким, каким оказался на самом деле. Само слово «Киев» в представлении хлопца почему-то было окрашено в красный цвет, как щиты княжеской дружины. Еще впервые услышанное, оно пылало багрянцем над зеленостью земли, а

еще сильнее – над белыми снегами тихих зим. Теперь Сивоок знал, что Киев – это и не белые боярские дома, и не остроконечные церкви из потемневшего восково-чистого дерева, и не кресты, черные или золотые, и не каменные терема, серые, с красными наличниками окон, и не зеленая трава защитных валов, и не желтая глина холмов, и не серебристые пески Днепра и Почайны, – Киев теперь навсегда останется для него вишнево-сизым поющим светом, в котором живут все краски, выколдованные когда-то для него волшебными руками деда Родима. И если все это сделали люди, если родила земля таких могучих духом сыновей, то представлялись они Сивооку именно такими, как дед Родим, – могучими, уверенно-спокойными, выше всех сущих, вырванными из повседневных хлопот, из суеты, из всего мелкого, незначительного.

А тут лежит в грязи торжища жалкий человек, хрипит, будто при последнем издыхании, из гноящихся, стекленеющих глаз у него выдавливаются мутные слезы, с уголков губ выползает клейкая и тягучая слюна. Неужели правду говорил дровосек? Неужели этот новый и неумолимо жестокий Бог глумится над человеком даже тогда, когда он творит невероятное чудо для Его прославления? Ему мало обыкновенной смерти – он губит людей издеваясь!

– А возьмите-ка за ноги эту падаль и оттащите вон туда, в глину, – захохотал купец, – пускай исхитрит малость носом своим богов! Го-го-го!

Лучук, колеблясь, взглянул на купца, потом на Сивоока. Им ли велено тащить опьяневшего украшателя церквей?

– Вы, вы, молокососы! – загремел купец. – Берите его да поскорее, покуда я...

Он хотел прокричать какую-то угрозу, но махнул рукой и окунул губы в ковш с медом. Но Сивоок словно бы только и ждал случая, чтобы на ком-то согнать свою злость, вызванную разочарованиями, испытанными им здесь, среди пьяниц, среди людской толчеи, где на самом дне очутился тот, который должен был быть над всеми и вне всего.

– Не работники твои, чтобы помыкал нами! – сверкнул хлопец ошалелыми глазами на купца.

– Что? – оторвался тот от ковша. – Не работники? А кто таки? Беглецы задрипанные? Сопливцы! Зуб медвежий повесил на шею! Как дам тебе, то проглотишь и медвежий, и все свои! Эй, Джурило! А ну-ка, покажи этому негоднику!

От всадников, которые оцепенело наблюдали, как их хозяин напивается с базарным сбродом, мигом отскочил на высоком пепельно-сером коне рыжий детина с глазами разбойника и со зловещей медлительностью начал доставать из черных ножен меч. Но в Сивооке проснулась вдруг ловкость Родима в сочетании с дедовской яростью. Хлопец неожиданно для всех метнулся наперерез всаднику, с беспощадной силой рванул коня за удила, поднял его на дыбы, и рыжий Джурило со всего размаху рухнул на землю. И хотя времени на это ушло совсем мало, но Лучук, пока глаза всех были прикова-

ны к беспомощно пятащемуся коню и падающему Джуриле, успел вскочить на будку медовара, вырвать из-за спины лук, натянуть тетиву, приладить стрелу и, целясь прямо в глаза обезумевшему от питья и неожиданного поворота событий купцу, воскликнул:

– Прошью всех стрелами, только пошевелитесь!

Джурило лежал, не переставая стонать, в грязи. Конь испуганно осел на все четыре ноги, пятась подальше от Сивоока; стража купца застыла в ожидании нового, быть может, на этот раз более умного повеления от своего хозяина. И тот в самом деле очнулся от тумана опьянения, трахнул ковшом о землю и, хлопнув себя по животу, захохотал притворно:

– Ой, отроки! Ой, потешили! Беру вас обоих в свою стражу!

Но Сивоок стоял все так же настороженно, готовый бить своей дубинкой все, что на него двинется, а Лучук держал тетиву в таком напряжении, что его рука могла вот-вот не выдержать и пустить стрелу прямо в лоб купцу.

– Я сказал! – крикнул купец. – Принимаю вас! Медовар, меду отрокам!

– Годилось бы спросить, хотим ли к тебе, – хмуро напомнил ему Сивоок.

– Да ты что? – аж подскочил дровосек. – Да разве же можно так говорить? Да вы знаете, что к гостю Какоре весь Киев пошел бы в услужение!

– А мы – не Киев, – сказал Сивоок.

Джурило тем временем сел и беспомощно мотал головой – никак не мог перевести дыхание.

– Все знают купца Какору! – заревел купец. – Какора сказал – камень! Любо мне и то, что вы вот так петушитесь! Оба вы мне любы! И показали мне все, что умеете! Принимаю вас к себе и кладу добрую гривну обоим!

– Не все еще показали, – пропел с будки Лучук. – Хочешь, твоему коню ухо могу прострелить? Выбирай – правое или левое?

– Кончик правого, а заденешь коня – голову оторву! – крикнул Какора.

Свистнула стрела – и кончик правого уха у Какорина коня на глазах у всех раздвоился кровавой бахромой.

Дровосек всплеснул руками от восторга:

– Вот это да! Самому князю в лучники, в первейшие лучники!

Какора переводил разъяренный глаз с коня на Лучука и обратно.

– Отроки вы или бесы суть? – пробормотал он. – А ну-ка, выстрели еще раз. Вон у того медовара в затычку от бочки попадешь?

Снова пропела стрела и черным пером закачалась в самом центре круглой затычки, на которую указал Какора.

– А перекреститься умеешь? – спросил купец Лучука.

– Не умеет он, – ответил за товарища Сивоок.

– А ты?

– А я умею, видел, как это делают, да не хочу.

– Почему же это ты не хочешь? Ты знаешь, что князь Владимир принял крест и своих двенадцать сыновей окрестил и всех киевлян? А еще сказал: «Кто не придет под новую веру – богатый, или бедный, или нищий, или раб, – врагом моим будет».

– Так мы же не слышали, как князь это молвил, – наивно сказал Лучук.

Какора засмеялся, а дровосек даже запрыгал от веселья.

– Хлопцев для тебя нашел, Какора! – закричал он купцу. – Должен мне подарок поднести за это! А вы, хлопцы, света увидите с Какорой – го-го! Такого света!

– Ну так что, идете или нет? – спросил купец Лучука. Но Лучук смотрел на Сивоока. Сам не осмеливался решать. Сивоок кивнул головой. Подошел к кругу пьяниц, пристально взглянул на Какору своими сивыми, неотразимо пронзительными глазами, подумал: «Все равно удерем! Бежать! Бежать! От всех!»

А сам еще не ведал, куда и зачем бежать, но знал, что это его цель и насущная потребность и родилась она той ночью, когда был убит дед Родим.

Но можно ли бежать от красоты, увидев ее хотя бы один раз?

Год 1004

Лето. Радогость

...И постави церковь, и сотвори праздник велик, варя 30 провар меду, и зозываше болары своя, и посадники, старейшины по всем градам, и люди многа, и раздавая убогым 300 гривен...
Летопись Нестора

Длинный-предлинный обоз с клекочущим шумом продвигался в безмолвные леса, подальше от людских жилищ, от дурного глаза. Хлопцы, следовавшие в конце обоза, просто диву давались, откуда такая поворотливость и прыть у толстенного Какоры, под которым аж прогибался гнедой жеребец. Хвастливый купец объезжал свои возы, проверял, все ли на месте, все ли в порядке, резким голосом отдавал необходимые распоряжения, подгонял усталых, ободрял отчаявшихся, снова оказывался во главе похода, весело покачивался в седле, затягивал песенку истых гуляк: «Гей-гоп, гей-гоп, выпью чару, выпью добру, гей-гоп, гей-гоп, теплу жону обойму!..» Закончив песню, подскакивал к возу с припасами, приказывал нацедить ковш меду, выпивал, смачно закусывал, хмыкал от удовольствия так, что невольно казалось, будто ветер пролетает по листьям, опрокидывал еще несколько ковшов, мчался вперед, раздавая по дороге туману.

ки и нагоняи всем, кто попадался под руку, и все должны были молча терпеть прихоти Какоры, потому что после изрядного питья он становился и вовсе невыносимым.

Сивоок и Лучук плелись позади обоза. Были пешими, на возы присаживаться Какора не велел, чтобы не утомлять коней, разве что где-нибудь там с горы; коней же для хлопцев не дал, хотя и имел несколько запасных, да хлопцы не очень о том и горевали. Привыкли ходить пешком, к тому же хорошо знали, что ни один конный не может потягаться с ними в пущах, где они чувствовали себя как рыба в воде.

Случилось так, что возвращались они в леса, где когда-то, наверное, родились, выростали, откуда потом убегали в поисках лучшего, но всегда помнили зеленую тишину своего детства, где мало людей, а следовательно, кутерьмы и страхов.

У Какоры было свое мнение, но получалось так, что купец, сам того не ведая, делал доброе дело для хлопцев, и вот они брели в хвосте длинной цепи телег, перед ними стучали колеса, скрипела сбруя, напевал свое «гей-гоп» Какора, они ничего этого не слышали, углублялись в зеленую тишину древнего леса, обменивались взглядами, в которых все было ясно без слов.

Уже давно закончились накатанные и натоптанные дороги, уже не стало людских тропинок, уже и запутанные звериные тропы укрылись в зарослях то справа, то слева, затерявшись неведомо где, а Какора гнал и гнал свой обоз, нагру-

женный заморскими товарами, глубже и глубже в безбрежность пуши, так, будто для него теперь важно было не получение прибыли за удачный обмен с доверчивыми древлянами, а само лишь продвижение дальше и дальше, в неизведанное, нетоптанное, нетронутое.

Вел своих людей наугад: знал ли он или не знал, куда едет, никто не смел спрашивать его об этом; утомленно шагали кони, все медленнее и медленнее скрипели тяжелые повозки, дремали всадники, а то вдруг словно судорога пробежала по обозу, все вскидывались, хватались за оружие, но немного погодя снова впадали в сонливость.

Часто на пути у них попадались лесные речки. Ленивые изгибы коричневых, будто старые корни, вод действовали и вовсе обессиливающе. Люди поднимали головы лишь для того, чтобы мигом прийти к согласию об остановке и более длительной передышке. Кони, словно бы догадываясь об усталости своих хозяев, направлялись к воде и жадно пили, даже не разнузданные. Какора немного обескураженно поглядывал на речку, не решаясь загонять своего гнедого в воду, и, пока он бормотал о чем-то, жеребец тоже пил, цедя коричневую влагу. После передышки Какора велел искать брод. Разъезжались в разные стороны, осторожно пробовали, где мелко, иногда натыкались на новые звериные тропы, потом двигались по этим тропам, а затем вдруг произошло так, что после двухдневной поездки по пуше они очутились на берегу той же самой речки, даже возле того самого брода,

через который переходили, но Какора не растерялся, не подал виду, только опрокинул лишний ковш меду и еще громче запел: «Гей-гоп, гей-гоп, теплу жону обойму!..»

– Давай удерем, – сказал Лучук Сивооку. – Давно уже чешутся мои ноги дать деру от этого задаваки...

– Я тоже думал об этом с самого Киева, – тихо произнес Сивоок.

– Так вот, как раз здесь и махнем! Нам в пуще раздолье!

– А теперь не хочу.

– Почему же?

– Очень хочется узнать, куда же он движется.

– Да никуда! Пьян ведь! Ничего не видит!

– Все он видит. Только прикидывается таким пьяницей да гулякой.

– Куда же он может добраться? Разве что к трясине.

– А увидим.

– Ох и надоело же мне вот так топать! – вздохнул Лучук. – Залезть бы на дерево да и спать три дня и три ночи. Ничто мне так не любо, как спать на дереве.

– Потерпи, – успокоил его товарищ. – Мне тоже надоело. Удрать всегда сумеем. А вот найти...

– Да что же тут найдешь?

– Не знаю... Если бы знал... Все равно нам с тобой нужно куда-то идти. На месте не усидим.

Лучук посопел-посопел и молча поправил на спине лук. Он во всем подчинялся своему товарищу, хотя тайком и счи-

тал себя более сообразительным. Но пусть! Еще пригодится его сообразительность.

А Сивооком вновь овладело странное упорство. Так когда-то хотелось ему забраться в самую глубину пуши, спуститься в нижайший низ ее, где должно было заканчиваться ее непрерывное, ошеломляющее ниспадание, а когда потом случайно оказался там, в царстве лесных властелинов – туров, то вынес оттуда пьянящее ощущение молодецкого буйства, как у молодого Рудя, а вскоре это ощущение оттеснилось другим. Сивоок почувствовал свою мизерность и слабость, увидев дико закостеневшую силу Бутеня, который одолел Рудя, даже будучи раненым...

Какора почему-то напоминал Сивооку старого тура. Чтобы помериться с ним силой, требовалась не только лихость, но еще и разум. Пока купец знал больше всех, пока возвышался над всеми своими знаниями, нечего было и думать состязаться с ним. Бежать? Это легче всего. Но попытаться дойти туда, куда стремится Какора, казалось Сивооку загадочно привлекательным и волнующим. А что, если купец в самом деле задурил себе голову медом и кружится в пуцах только по глупости своей?

Иногда обоз выезжал на большую поляну, покрытую таким густым солнцем, что звенело в голове от неожиданности. Старые седые птицы, испуганные шумом похода, тяжело взлетали над поляной, и их медленный крик навевал тоску по свободным просторам. Но купец гневно бил в бока сво-

его жеребца, гнал его в заросли, и обоз тоже втягивался туда длинным-предлинным змеем, и напуганные крики старых седых птиц доносились до обоза, будто с того света.

Хотя стояла невыносимая жара, земля под ногами становилась все влажнее и влажнее, уже вода выступала в конском следу, а потом и в людском; лес даже для неопытного глаза становился все реже и реже, так, будто Дажьбог лишил его своей опеки и деревья хирели без души Дажьбога и становились все мельче и мельче, росли вкривь и вкось, перемежаясь с кустами, высокой сочной травой, мягкими болотистыми зарослями – все видимые признаки близкой топи и трясины.

Какора первым приблизился к началу лесного болота, гнедой жеребец испуганно попятился от коварно вздрагивающей долины, чей-то неосмотрительный конь вскочил передними ногами в зеленую трясину, рванулся назад, разбрызгивая на девственную зелень комки черной грязи. Испуганный крик прокатился вдоль обоза, но купец не дал времени на раздумья, беззаботно махнул рукой и погнал своего жеребца вдоль кромки болота, направляясь в объезд.

Объезжали болото несколько дней, но не было ему ни конца ни края. Кое-где попадались среди трясин бугорки, заросшие деревьями, на них даже можно было перескочить на конях, но дальше эти пригорки терялись, болото снова тянулось ровно, однообразно, всадники возвращались на свои места, двигались дальше.

Какора не только не впал в отчаяние от безнадежного движения вдоль трясины, но, наоборот, стал еще веселее. Он громче напевал свое «гей-гоп», молодо вертелся в седле, будто это был не грузный мужчина, который, казалось, может быть раздавлен собственной тяжестью, а молодой беззаботный гуляка.

Беззаботность и показная сонливость во взгляде не помешали купцу заметить падение духа его спутников, он время от времени подзывал своего рыжего стражника Джурилу, который должен был быть его первым помощником, бросал ему несколько слов, тот возвращался назад, подгонял то одного, то другого, непременно подскакивал к хлопцам, напирал на них грудью своего высокого коня, словно бы намеревался растоптать их, и покрикивал:

– Не отставать, доходяги!

Сивоок угрожающе поднимал свою палку, делал вид, что протягивает руку к уздечке коня, и Джурило с проклятьями отскакивал от ненавистных ему отроков.

Ночью разводили огромные костры, чтобы отогнать холодную мглу, поднимавшуюся с болот, спали тяжело и тревожно, просыпались на рассвете с ворчанием и проклятьями, один лишь Какора, пропустив натошак ковшик меду, молодо и весело начинал свою бесконечную песенку и гнал обоз дальше.

Лучук никогда не оставался у костра, уговорил и Сивоока спать с ним вместе, удобно расположившись высоко в

ветвях. Они взбирались на дерево, кое-как поужинав, норовили выбрать дерево и взобраться на него незамеченными, а там уж радовались своей недостижимости и безопасности, спать могли сколько угодно, потому что, даже проспав пред-рассветную кутерьму, догоняли потом обоз, идя по его следам.

В одну из таких ночей, расположившись между упругими ветвями в густой, разросшейся вширь на вольной воле ольхе, хлопцы уже начали было засыпать, как вдруг оба встрепенулись, почувствовав чье-то приближение к их дереву. Сивоок прикоснулся пальцем к ладони Лучука, призывая его к тишине, – Лучук ответил ему прикосновением столь же тихим, они притаились, начали прислушиваться. Было слышно, что к ольхе подошло трое. Ступали они мягко и осторожно, но от чуткого слуха юных лесовиков никто не мог утаиться. Сивоок и Лучук слышали даже, как один из пришельцев прислонился спиной к стволу ольхи и ударился о дерево, видимо, выбирая удобное положение; его спутники стояли в сторонке, тем самым, видимо, отдавая преимущество третьему. Наверно, именно он и заговорил, а те молчали, только слушали, потому что ни единым звуком не прерывали его, и хлопцам слышен был лишь голос третьего.

– Как только все уснут, так и начнем, – сказал этот третий голос слишком уж характерно, будто переплевывая слова через губу в своем нескрываемом пренебрежении к собеседникам и ко всему, что было вокруг. – Довольно уже! Надое-

ло! Загонит он нас прямо в болото! Сам не ведает, чего хочет. Нет больше моего терпения, а вам и того больше! Коней всех заберем. Чтобы и гнаться за нами не на чем было. Его жеребец вельми приучен к своему хозяину, его нужно зарубить! Двух отроков, которых он подцепил в Киеве, непременно найти, я с ними сам... Их оставлять нельзя: больно уж сообразительные да всевидящие – наведут на наш след. А тебе...

Они еще не верили, что это был голос Джурилы, ибо никак не вязалось, чтобы первый сообщник купца да замышлял такое тяжкое предательство, но когда он вспомнил о них, то все сомнения исчезли: да, это Джурило!

Хлопцы не испугались его угроз, потому что надежно спрятались от всего мира, они продолжали лежать в своем укрытии, притаив дыхание и вслушиваясь в негромкий разговор внизу.

– А найдем ли дорогу? – спросил один из заговорщиков.

– По следам пойдем, – коротко бросил Джурило.

– Где-то уже и следы стерлись на сухом, – рассудительно добавил третий, – много дней прошло...

– Коней пустим, они выведут из пущи, – прервал его Джурило, – конь всегда сумеет вернуться, лишь бы никто не мешал ему...

– А если... – снова заныл один из заговорщиков, но у Джурилы, видно, не было охоты на разглагольствования, внизу что-то звякнуло, послышался глухой удар, так, как если бы

кого-то ударили по спине.

Джурило приглушенно засмеялся, подавляя нетерпеливую злость, сказал почти спокойно:

– Довольно, скажите своим, пускай прикидываются спящими, а как только начнут гаснуть костры, так и айда! Коней тут не оставлять! Тебе – гнедого! Ты поможешь мне найти доходяг... С собой брать только золото и серебро да немного еды. По дороге еще раздобудем. Ну, за дело!

Они, осторожно ступая, направились в темную болотную мглу – и ничего не стало, так, словно и не слышали хлопцы, и не ведали. Немного полежали, сдерживая дыхание, потом Лучук прошептал:

– Что же делать? Сказать Какоре?

– А ежели он один или с двумя-тремя остался? – спросил Сивоок. – А все – в кулаке у Джурилы? Убьет Джурило всех и нас с тобою.

– Что же ты советуешь?

– А не знаю еще, – произнес Сивоок и долго лежал, углубившись в думы, а Лучук не мешал ему, поскольку оказалось, что ничего толкового не умеет посоветовать. Все же не удержался, захотелось показать, что есть у него перевес в быстроте над медлительным Сивооком. Снова шевельнулся, толкнул локтем товарища под бок:

– А что, если пойти за ними следом и, как только они станут на ночлег, угнать их коней?

– И что?

– Ну и вернуться к купцу с конями. А те пешком не догонят. Да и побоятся.

– Не знаю.

– Сделаем! – загорелся Лучук. – Пускай Джурило покрутится!

– А как же ты успеешь за ними? Они ведь быстро будут удирать.

– Как? Ну... – Лучук задумался, но быстро сообразил: – А мы пойдем впереди! Вот сейчас и тронемся. Пока они тут соберутся, пока двинутся, мы уже будем вон где! Ежели и обгонят нас, то на их ночлег мы будем уже снова рядом с ними. Ну?

– Постой, – сказал Сивоок, – дай подумать... Не ведаю, как с конями...

– Погоним, да и все!

– А как ты погонишь их? Пойдут ли они?

– Почему бы не пошли? Свяжем их в две связки – да и айда.

– Не пойдут кони, – уперся Сивоок.

– Почему бы должны не идти, ежели будем подгонять!

– Ты пробовал вести сразу несколько коней на одной веревке?

– Ну и что с того, если нет!

– А то, что будут они тянуть в разные стороны, а третий упрется на месте, четвертый начнет ржать, а остальные будут кусаться... В самый раз, чтобы Джурило со своими подоспел

и..

– Ой ты! – испуганно вздохнул Лучук. – Что же делать?

– А еще если бы хоть бежать назад, куда кони охотнее идут, чувствуя выход из пуши на волю, а в дебри ты их не погонишь никакой силой, – добивал его надежды Сивоок.

– Беда, беда! – чуть не плакал Лучук. – Так давай хоть сами убежим!

– А теперь и вовсе поздно. Если бы тогда, когда ты сначала советовал, то ничего. А теперь не годится. Одно, что далеко уже забрались, а другое: знаем коварство Джурилы, не можем так оставить, нехорошо это!

– А не ведаю, что можно...

– Вельми хорошее дело посоветовал, – сказал ободряюще Сивоок, но Лучук все глубже впадал в отчаяние.

– Где уж там! – простонал он. – Ничего не выйдет!

– Тронемся сразу, как ты сказал, – не обращая внимания на его отчаяние, предложил Сивоок.

– Зачем?

– Увидим.

– Все-таки хочешь вернуть коней?

– Не знаю. Побежим, а там видно будет...

Хлопцы осторожно спустились с дерева, украдкой обошли спящий обоз вдоль кромки болота и изо всех сил помчались назад, по следам своих многодневных странствий.

Они сразу же вспотели, хотя и расстегнули корзна и сорочки, в темноте часто спотыкались то о корни, то просто

о ветви, наползающая с болот тяжелая влажность с разгона забивала им дыхание. Сивоок, более крепкий телом, широкогрудый, бежал все-таки легко, а Лучук, более привыкший лазать по деревьям, неуклюже плелся за своим товарищем, с трудом переводя дыхание: «Хе-хе! Хе-хе!»

Когда миновал первый испуг, а позади уже не было ни огня, ни шума лагеря и вокруг окутывала все темнота, да лес, да близкие болота с липкими испарениями, хлопцы замедлили бег и двинулись рысцей более спокойно. Лучук, еще и не отдышавшись как следует, попытался заговорить с Сивооком, потому что очень уж хотелось знать, как же он думает действовать дальше, когда настигнут их беглецы Джурилы.

– Догонят нас, что тогда? – тяжело дыша за спиной у товарища, спросил он.

– Не догонят, услышим их, – спокойно ответил Сивоок.

– А ежели услышим, что тогда?

– Взберемся на дерево.

– И что?

– Встретим их. – Сивоок был так спокоен, что Лучук даже попытался забежать наперед и заглянуть ему в лицо. Но темнота была такая, что все равно ничего не увидишь.

– Как же мы их встретим?

– Не знаю.

– Вот так да! – разочарованно воскликнул Лучук. – И я не знаю. Так кто же знает? Куда бежим?

– Хочешь отдохнуть? – спросил Сивоок.

– Да нет, я хоть три дня могу бежать.

– А я бы уже и передохнул малость, – сказал более сильный, жалея своего слабого товарища.

Лучук промолчал, побоявшись возразить, но и не настаивая на остановке. Сивоок свернул немного в сторону, остановился возле темного дерева, оперся о его шершавый ствол спиной, схватил подбегающего Лучука в объятия, будто малое дитя.

– Да я! – куражился Лучук, хотя на самом деле еле передвигался уже.

Стояли они недолго. Хотя ноги у них подгибались от усталости, хотя струился по всему телу горячий пот, хотя очень жаль было бросать опору за спиной и снова мчаться вперед, давясь едкими болотистыми испарениями, но речь шла не об усталости и трудностях – речь шла о делах очень важных, рядом с которыми все меркло и теряло свое значение.

– Нужно бежать, – сказал Сивоок, – и как можно скорее. Чтобы не настигли они нас в темноте.

– А разве это не все равно? – не понял его намерений Лучук.

– Если будет рассвет, ты сможешь их стрелами хорошенько угостить. А в темноте что? Посвистишь вослед?

– Я такой, что и среди ночи попаду! – похвалялся Лучук, которому хотелось еще хотя бы минутку посидеть возле дерева.

– Не можем рисковать, – рассудительно промолвил Сиво-

ок, – их много.

– А может, и нет.

– Много. Знаю.

– Что ж, ежели догонят еще до рассвета?

– Пропустим и пойдем следом. Где-нибудь да и настигнем их.

Они побежали дальше. Снова рванули изо всех сил, но быстро устали и еле плелись рысцой, правда, теперь уже молча. Иногда Сивоок немного сбивался со следа, сворачивал то влево, то вправо, но Лучук сразу же наставлял его на правильный путь, потому что чувствовал дорогу самими подошвами ног, ему не нужно было даже на землю смотреть.

Такой долгой ночи, наверное, еще не было ни у одного из них за всю жизнь. Бежали в черноту, углублялись в такую беспросветность, будто погружались в болотные дебри. Тьма еще больше усиливалась от тишины. Не слышно было ни шелеста листьев, ни криков ночных птиц – одно лишь пошаркивание мягких постолов по твердой лесной земле да свистящее дыхание. Красные круги изнурения раскручивались у них перед глазами с каждой минутой все быстрее, с каждой минутой все напористее, все яростнее. Возникали из темноты и во тьме исчезали. Красная чернота и черная краснота. А на их место напозлали мохнатые ужасы, страшные духи ночи, ужасные видения, ночь щедро рождала всякие ужасы в пущах и болотах, эти ужасы подступали к ним со всех сторон нагло и зловеще, то бросались под ноги каменно-твер-

дым корнем дуба, то хлестали по лицу упругой веткой, то пугали прикосновениями чего-то отвратительно скользкого. И чем дальше бежали хлопцы, тем меньше знали они, ради чего бегут: то ли ради какого-то дела, то ли просто сдуру или же от жуткого испуга, от которого просто невозможно убежать...

Спас их рассвет. Кто-то швырнул вверх немножко бледности, миг исчезли духи леса, над лесом показалась полоска неба, и сам лес сразу словно бы раздвинулся, стал просторнее, звонче, и близкие болота отодвинулись куда-то подальше, и земля под ногами потвердела.

– А цыц! – остановился внезапно Лучук и, малость посто-
яв, тяжело дыша, упал на колени и прислонил ухо к земле.

– Слышно? – спросил Сивоок, изо всех сил пытаясь при-
кидываться спокойным. – Что слышно?

– Конский топот, – сказал Лучук.

– Вот и хорошо.

– Боже Свароже, помоги коней угнать, – торопливо забор-
мотал Лучук.

– Кони – что! Джурилу нужно свести со света.

– Это уж моя забота. – Лучук погладил свой лук.

– Ну, айда выбирать дерево, – предложил Сивоок.

– Сам выберу.

Сивоок смолчал, потому что теперь хозяином положения был Лучук.

– Мне тоже вместе с тобой или же на другое дерево? –

спросил Сивоок почти послушно своего товарища.

– Как хочешь. А впрочем, лучше уж нам быть вместе. Так веселее.

Чего-чего, а веселья здесь было меньше всего, но оба попытались улыбнуться. В холодном свете раннего утра лица их были серые, аж синие, длинный изнурительный перегон по ночному лесу как-то снял с их фигур и лиц обретенную за последнее время взрослость, и теперь наружу выступило детское, беспомощное и незащищенное.

Они выбрали высокий ветвистый дуб, под которым, кажется, должен был проводить свой мятежный обоз Джурило, без видимой охоты и торопливости полезли вверх, долго искали дубовые ветви, еще дольше располагались, так что чуть было не пропустили удобный момент, потому что беглецы появились из-за деревьев совершенно неожиданно и гнали вперед так быстро, что Лучук едва успел приладить стрелу и натянуть тетиву, но выстрелил уже не в лицо Джуриле, как предполагал это сделать, а почти вдогонку.

Тетива тихо звякнула, черная стрела хищно метнулась вниз, чтобы разом покончить с рыжим верзилой. Джурило ехал быстро, но стрела летела еще быстрее, она должна была настичь его сразу, и он сразу должен был повалиться навзничь, или же упасть на гриву коня, или сползти набок, но стрела уже, видимо, настигла рыжего, а он все так же покачивался на своем жеребце, удаляясь от дуба и от своей смерти; он словно бы не ехал, а отплывал, отодвигался, неслышно,

беззвучно, конские копыта били о землю глухо, мягко, будто обмотанные мехом; все происходило, словно в зловещем сне, ночь хищных прав не хотела заканчиваться, она продолжалась существованием Джурилы, хотя должен он был быть мертвым; но не было времени для удивления, Лучук быстро пустил новую стрелу, которую приготовил для кого-то другого, снова на рыжего, но и от этой не произошло ничего, кроме разве того, что Джурило оглянулся и что-то крикнул своим, из чего можно было заключить, что обе стрелы попали в него, но не убили. Сивоок понял: на рыжем – заморский панцирь.

– Бей остальных! – прошептал он Лучуку. – Рыжего не возьмешь!

Лучук ударил одного, другого, третий испуганно рванул своего коня в чащу, еще несколько натолкнулись на тех передних, которые валились с коней. Лучук воспользовался случаем, чтобы сразить еще двоих. Джурило, вместо того чтобы броситься на выручку своим, изо всех сил помчался подальше от страшного места; уцелевшие пошли врассыпную по лесу, тогда Сивоок, не боясь угрозы столкновения с озверевшими от страха заговорщиками, просто упал с дерева в самое скопище коней и убитых всадников, схватил одного коня за уздечку, выдернул его из свалки, вскочил ему на спину, бросился ловить других коней, не прислушиваясь ни к стонам конским, ни к топоту беглецов.

Ему удалось поймать еще двух коней, но и это было хо-

рошо, если принять во внимание их неожиданную неудачу с Джурилой.

– Кто же мог знать, что он прикрыл свое пузо, – бормотал Лучук, неумело усаживаясь на самого маленького коня, потому что к высокому боялся даже подходить. – Если бы знал, я бы в затылок целился! Или в ухо!

– Темно ведь, – попытался прервать его похвальбу Сивок.

– А мне все равно! Вижу и сквозь темнейшую ночь!

– Давай-ка поедем поскорее. Хорошо хоть так вышло. Лишь бы только Джурило не надумал броситься нам вдогонку.

– Просверлю стрелами всех до единого! – хвастал Лучук.

– Да верю. Ты у меня такой хороший брат, что без тебя не знаю, как бы и жил.

– То-то и оно, – гордо промолвил Лучук. – Ты только не гони коня, а то у меня в животе все переворачивается.

Кони пошли легкой рысцой, нога в ногу, но Лучуку все равно было трудно с непривычки и неумения, он клонился то в одну сторону, то в другую, его подбрасывало, сдвигало назад, не успевал он выпрямиться, как снова оказывался в опасном наклоне, был уже мокрый насквозь, дрожали у него руки и ноги и все тело билось в лихорадке от предельной усталости и бессилия. Однако попросить товарища, чтобы тот остановился для передышки, Лучук не решался. Да и зачем? Сами бежали через весь лес, почти не останавливаясь,

а теперь ведь на конях! Но если уж по правде сказать, то Лучук готов был всю остальную свою жизнь бегать пешком по всей земле, лишь бы только не садиться на это округлое существо, на котором невозможно ни удержаться, ни успокоиться, ни отдохнуть! Что это за езда, если ты только и думаешь, чтобы не упасть, чтобы не опрокинуться через голову или не плюхнуться на бок, куда тебя так клонит неодолимая бесовская сила!

Но, впрочем, обратный путь, хотя и был насыщен муками для Лучука, оказался намного короче, нежели это было ночью. Сивоок, несмотря на свою молодость, не раз и не два имел уже возможность убедиться в том, что к счастью и добру путь всегда очень длинный, а к беде – всего лишь шаг.

Они подъехали к обозу купца в тот момент, когда солнце еще только поднималось где-то за пущей. Бросились в глаза безлюдность, заброшенность обоза, беспорядок, тишина. На многих возах видны были отчетливые следы ограбления, остальные, хотя и не были затронуты, выглядели грустно и беспомощно.

Нигде никого. Наверное, те, кто сохранил верность Какоре, тоже ушли отсюда вместе со своим перепившимся грузным хозяином, надеясь пробиться к людским поселениям и раздобыть хоть каких-нибудь лошадок для спасения неисчислимых богатств, брошенных теперь у кромки болота.

Сивоок еще сидел на коне, а Лучук, радуясь, что муки его закончились, поскорее скатился на землю, шагнул окоче-

невшими, избитыми ногами туда и сюда, приблизился к одной из главных телег, зачем-то прикрытой дорогим покрывалом так, словно бы здесь кто-то надеялся на хороший торг и заманивал покупателей. Разминаясь, медленно ощущая блаженство хождения по земле на собственных ногах, Лучук от нечего делать задел двумя пальцами кончик этого покрывала, – видимо, желая показать товарищу заморское диво, вытканых золотом крылатых зверей, разбросанных по ткани, необычайные цветы и листья, которых невозможно было найти в самых отдаленных здешних пущах, – но стряслось неожиданное и страшное.

Покрывало, которым была накрыта вся телега, от одного лишь прикосновения пальцев Лучука рванулось вверх, из-под него раздался по-звериному жуткий рев, сверкнул широченный меч – и Лучук, рассеченный наискось, тихо повалился под колеса.

– Ты что? – закричал Сивоок, еще не постигнув до конца всего ужаса случившегося, еще не узнав как следует Какору, и рванул коня прямо на купца, и огрел его по голове своей тяжелой дубинкой.

Теперь Сивоок не заботился о Какоре, не боялся его, даже если бы тот и нашел в себе силу снова схватиться за меч, – спрыгнул с коня, бросился к Лучуку.

Тот плавал в теплой своей крови, был уже далеко отсюда, там, откуда нет возврата.

Мертвый.

– О добрые боги и боги злые! Почему вы так делаете? Почему забираете самое лучшее, что у меня есть, а оставляете неведомо что?

Он еще не верил. Прикоснулся к телу товарища, попытался перевернуть Лучука. Тот был тяжелый, как камень.

Мертвый.

Сивоок оглянулся вокруг, словно бы ждал откуда-то спасения. Быть может, он думал, что из пуши выступят вилы-чародеи или из болот подспеют берегини и спасут товарища-брата?

Нигде никого.

Только на телеге, придавливая крылатых зверей, вытканых золотом на покрывале, подминая под себя невиданные листья вышивки, лежал без сознания Какора, и возле его тяжелой руки зловеще посверкивал широкий меч с темнеющими полосами крови Лучука на лезвии.

Сивоок в ярости вскочил на грудь купца, принялся тормошить его, пытаясь привести в сознание, кричал в его замутненное беспомощным лицом:

– Что ты наделал? Что ты натворил? Ты, злодей проклятый! Убийца! Негодяй!

Сивоок продолжал без устали тормошить, бить Какору по жирным щекам, бить в грудь до тех пор, пока тот не пришел в сознание, зашевелился, протянул руку в поисках меча, попытался стряхнуть с себя разъяренного Сивоока, а поскольку это ему не удалось, он угрожающе махнул рукой, надулся

для гневного крика, но вдруг сознание вернулось к нему, он порывисто сел, увидел убитого Лучука, теперь уже отчетливо услышал крики Сивоока и как-то словно бы неловко про-
бормотал:

– Отрока зарубил... Как же так?

– Ты! Поганец! Сволочь! Тварь! – метался возле него Сивоок, подскакивая то с одной, то с другой стороны, отвешивая ему удар за ударом. – Что ты натворил! Что ты...

– Ну, – бормотал Какора, – разве человек хочет?.. Это бесводит его рукой... Да успокойся, хлопче... Ну... Разве ж я...

Сивоок сел возле мертвого Лучука и заплакал. Только теперь он превратился в бессильного подростка из далекой темной ночи, одинокого мальчишку на чужой размокшей дороге, залитого слезами мальчика в залитом слезами мире.

– Ну, – еще будучи не в силах спуститься с телеги, бормотал Какора, – ну чего ты?.. Разве человек что?.. Ну вышло так... а ты не плачь... Какора тебя никогда не... Ты еще не знаешь Какоры. За добро Какора – только добром... Ну... Довольно, довольно... Гей-гоп!

Он легко вскочил на землю, прежде всего подозвал коней, щипавших неподалеку траву, равнодушных к людской крови, которой они вдоволь навидались на купеческой службе, привязал их, потом обнял Сивоока за плечи, немного постоял молча, сказал:

– Похороним его, а самим нужно убираться отсюда. Потому как Джурило... Ты его еще не знаешь. Думал я, что это

он вернулся... Если бы я ведал...

Они похоронили Лучука под красивой дуплистой березой: быть может, дикие пчелы наносят в дупло меду, и маленькому бортнику будет сладко и на том свете от золотистого гула.

Затем Какора начал выбирать с телег то, что считал самым ценным, и переносить на передний воз, и наложил так много, что пришлось припрягать еще и третьего коня, потому что двоим было не под силу. Сивоок хотел было обругать купца за жадность, хотел сказать, что нужно бросить все и выбираться отсюда подобра-поздорову, но такое равнодушие овладело им, что он смолчал и мрачно побрел следом за возом, рядом с которым с вожжами в руках шел снова повеселевший Какора.

У Сивоока не было выбора. Он должен был идти вместе со своим, быть может, самым яростным врагом, таким, как и тот неведомый убийца деда Родима или коварный медовар Ситник. Бессмысленно ненавидеть человека и быть его товарищем в пути, но что должен был делать юный Сивоок, затерявшийся среди страхов и чудес большой земли, на которой не было для него нигде убежища?

Болота закончились еще в тот же день, со всех сторон их окружал древний лес, в который боязно было въезжать, но Какора словно бы даже обрадовался, ступив под нависшие шатры вековой пуши, снова запел свою глуповатую песенку, а Сивоок был равнодушен ко всему на свете, не знал

он ни страха, ни колебаний, оцепенело шагал следом за телегой, молча отталкивал руку Какоры, который подсовывал ему еду, по ночам не спал, даже не ложился, а сидел у костра, и все в нем содрогалось от сдавливаемого неудержимого плача.

По ночам его мучило дикое желание убить Какору, но Сивоок знал, что никогда не сможет преодолеть расстояние, которое отделяло его от уснувшего купца, их разделял не только костер – между ними пролегла незримая межа, по одну сторону которой была тупая, равнодушная жестокость, а по другую – впечатлительно-чистая юность, для которой мир был словно разрисованный храм, а люди в нем представлялись величайшим чудом на земле, равными богам.

Но почему же так много встречалось среди них такой дряни, как Ситник, как убийцы деда Родима, Джурило, Какора? И много ли еще встретит таких Сивоок?

Сивоок никогда не мог простить Какоре того, что он сделал, не подарил купцу ни одного извиняющего взгляда даже тогда, когда тот наконец пробился сквозь извечный лес и на берегу таинственного тихого озера перед ними открылся невиданный древлянский город. Первая мысль Сивоока была не о купце и не о себе – подумал он о том, как бы сейчас обрадовался Лучук, как бы подпрыгивал он от предчувствия новых див, которые открываются за высокими валами скрытого от всего мира городка.

– Ну! – обрадованно взревел Какора. – Ага! Добрался! Вот

так!

Город возникал перед ним, словно подарок за тяжкие странствия, за смерти и страхи в пущах, город, исхитренный из дерева, такого потемневшего и тяжелого, будто он насчитывал целую тысячу лет.

Город имел вид необычно огромного треугольника, одной стороной он почти входил в озеро (а может, брел из него), высокие зеленые валы его были укреплены дубовыми клетями, которые выставляли напоказ свои рубленые ребра; ниже, вдоль вала, сплошным гребнем проходил наклоненный вперед частокол из гигантских дубовых бревен, обожженных с двух сторон для предохранения от загнивания и дровоточцев; еще ниже, на крутосклоне, выложены были тесанные до скользкости колоды, подогнанные плотно и крепко; одними концами они подпирали частокол, а другими – погружались в мертвую воду широкого рва, окружавшего город с двух сторон, не защищенных озером. Двое ворот вели в город, и были они открыты. А замшелые дубовые мосты через ров неведомо когда и поднимались, потому что опоры их заросли уже по берегам рва густой травой, даже куст лозы рос у края того моста, против которого остановились Сивоок и Какора.

То ли не было в городе людей, то ли так уж беспечно они чувствовали себя, спрятанные в самые отдаленные глубины зеленого дивного мира?

– Гей-гоп! Гей-гон! – напевал Какора, направляя измучен-

ных коней на замшелый мост. – Теплу жону обойму! Сладко жону полюблю!

Прогромыхали старые бревна под колесами, дохнуло домашним дымом из-за широких ворот, послышались из города людские голоса, стук и звон, кони, весело помахивая головами, без понукания и покрикивания вынесли телегу в гостеприимно открытые ворота. Какора, горланя свою песню, радостно шагал рядом со своим имуществом, небрежно подергивал вожжами. Сивоок держался чуточку поодаль, словно бы желая подчеркнуть, что он не имеет ничего общего с толстым забиякой, что пришел сюда сам по себе, просто чтобы изведать еще одно место на своей земле, вобрать в открытое сердце еще новые дива, которые мир дарил ему так щедро, как и несчастья да горе.

Далеко они и не заехали. Кони внезапно остановились, захрапели, ударили копытами в телегу, принялись рвать сбрую; застыл Какора с открытым для пения ртом; остановился и Сивоок, сначала удивляясь происшедшему, а потом и увидев причину такой перемены. Навстречу им вразвалку шел, поднявшись на задние ноги, огромный медведь, шел молча, раскрывал пасть, выставлял вперед глыбистые передние лапы, с которых свисали грязные космы. Медведь был такой страшный и мохнатый, что даже Сивоок, хотя был далеко и прикрывался от зверя телегой, невольно попятился назад; что же касается Какоры, то у того довольно быстро прошло оцепенение, он рванулся правой рукой к ножнам,

выхватил меч и пошел на медведя, почти такой же, как медведь, огромный, толстый и страшный.

Но откуда-то вдруг высыпала детвора, ободранная и грязная; дети, хотя были худенькими и мелкими, обладали голосами удивительно резкими, они подняли такой визг, что из ближайшей хижины выкатилась невысокая женщина, что-то крикнула, побежала следом за медведем, еще раз крикнула, медведь оглянулся, остановился, взглянул еще раз на мечущихся коней и на толстого человека, наступавшего на него с блестящим железом, грузно повернулся и направился к женщине.

– Твой, что ли? – крикнул Какора. – А ежели твой, так не пускай, а то зарублю! Я такой! Гей-гоп!

Женщина молча смотрела на Какору, на его коней, потом – на Сивоока, смотрела, пока они проехали, и хлопец так и не понял, что это за женщина, почему она так смотрит на них и какими чарами обладает, что ей послушен даже медведь.

Навстречу приезжим выходили люди. В большинстве своем это были женщины, да все маленькие, аккуратненькие молодички, мужчин попадалось мало, были они забитые, невытые, нечесаные, вид у них был дикий и сонный. Никто не носил оружия, одеты они были не в шкуры, а в белую полотняную одежду; у женщин и детей на воротниках и рукавах было много предивных вышивок, мужчины не баловались такой роскошью.

Хотя Какора был здесь впервые, он знал, куда ехать, да

и Сивоок бы знал, потому что еще издалека увидел сооружение, которое возвышалось над всеми хижинами и навесами, горело среди потемневшего дерева красками певучими и необычными, подобно той киевской церкви, которая так поразила Сивоока.

Видать, то была святыня этих укрытых от белого света людей, святыня, построенная неведомо когда, неведомо кем, потому что не верилось, чтобы кто-нибудь из ныне живущих был способен на подобное строительство и украшения.

Словно бы взял тот кто-то неведомый множество крепких липовых бортей, увеличил их до невероятных размеров, украсил извне узорами богов и богинь – и все это, соединенное в живописное целое, стрельчато возвышается к небу разноцветными крышами, неодинаковыми, как и каждая увеличенная борть.

Сивоок, забыв про Какору, пересек базарную площадь перед святыней, неотрывно смотрел на украшения стен, узнавал еще издалека Родимовых славянских богов и богинь, они повторялись, их лики смотрели на хлопца, будто отраженные в многообразии вздыбленных вод, с ликами и фигурами богов переплетались фантастические фигуры вил и берегинь; стены святыни были сплошной краской, радужной радостью, праздником для глаза. Цветные изображения богов хорошо сочетались с резными, никогда еще Сивоок не видел такой тонкой резьбы, от этого вся святыня обретала легкость, она как бы провисала над землей в своей разукрашенной неве-

сомости. Сивоок сначала и не понял, откуда это впечатление легкости – то ли от буйности красок, то ли от искусной резьбы, то ли от неодинаковости «бортей», соединенных с такой неожиданной смелостью и умением. Только немного погодя, когда он обошел сооружение наполовину, Сивоок хлопнул себя по лбу: как он мог не заметить сразу! Святыня не стояла на земле. Она поднята была на крепких столбах, коричнево-блестящих, будто рога диких зверей. Когда Сивоок провел пальцем по одному из «столбов», ему и в самом деле почудилось, что это – турий рог, но нигде никогда не было и не могло быть таких рогов, разве что их склеили каким-то дивным таинственным способом, известным только этим людям, как известны им были тайны красоты и цвета. С одной стороны святыня подпиралась зеленым пригорком. Там были двери, которые вели внутрь, но сейчас двери были закрыты, и Сивоок продолжал идти вокруг святыни с другой стороны, пока не очутился снова там, откуда и начал свой осмотр.

Детвора помогала Какоре распрягать коней. Неумело и беспорядочно дергала за сбрую, другие тащили коней за повод, еще другие норовили вырвать волос из конских хвостов; дети вертелись под ногами у купца, тот покрикивал на них, наделял тумачами каждого, кто попадался ему под руку, бормотал:

– Кыш! Зовите своих отцов, говорите: гость приехал. Менять начнем! Все у меня есть! Никто и не видывал такого.

Ну!

Привязав коней, Какора принялся разгружать телегу; увидев Сивоока, крикнул ему:

– Эй, отроче, помогай!

Сивоок остановился и не мог сдвинуться с места. Теперь он знал: никуда не пойдет дальше с этим толстым убийцей. И удирать не станет, – просто не пойдет, да и дело с концом. Пускай Какора сам попытается выбраться из лесов да болот. Пускай натерпится страху!

– Ну! – крикнул еще раз Какора.

– Не хочу, – впервые за последние дни заговорил Сивоок, и не ненависть была в голосе хлопца, а презрение.

– Гей-гоп! – беззаботно напевал Какора.

Начали собираться люди. Видно, они привычны были к торгу, ибо шли смело, их не тревожили ни глуповатое пение Какоры, ни его товары; не удивлялись они купеческой повозке, а кони вызывали разве лишь сожаление своей изнуренностью и испачканностью. Создавалось впечатление, что тут перебивало множество разнообразнейших гостей, что все привыкли к ним, хотя и трудно было предположить, чтобы пробивались сюда из широкого мира даже такие отчаяннейшие пройдохи, как Какора.

Первым пришел высокий косматый мужчина с лукаво прищуренным глазом; руки у него были такие длинные, что свисали ниже колен; лицо мужчины излучало насмешливость и хитринку, он остановился в нескольких шагах от куп-

ца, хмыкнул, спросил задиристо:

– Что имеешь?

– А что нужно? – вопросом ответил Какора, который хорошо разбирался в покупателях и сразу видел, с кем имеет дело.

– Спрашиваю, что имеешь? – снова повторил мужчина.

– Что нужно, то и имею, – начиная сердиться, ответил купец.

– А не ври.

– Имею такое, что тебе и не снилось, – подогревал его любопытство Какора.

– Ой, хвастун!

– А у тебя? Дранные порты да плоть смердючая! – пошел в наступление Какора. – Ну!

– Ох, смешной ты! – захохотал мужчина. – Да у меня...

– А что у тебя?

– Да такое...

– Ну какое?

– Да и дети твои не увидят такого.

– Что же это? Разве что птичье молоко...

– А и молоко.

– Воробья подоил или жабоеда?

– Да и воробья! – Мужчина лениво почесал ногу о ногу, повернулся, чтобы уйти прочь.

– Эй, куда же ты? – испуганно позвал Какора.

– Дак что ж с тобою?

– Постой, что же у тебя?

– Дак у тебя же ничего.

– Не видел же ты, дурак!

– Дак и нечего видеть! – сплюнул мужчина.

– А у тебя что?

– Да такое, что и детям твоим...

Какора, тяжело дыша, подбежал к мужчине, схватил его за руку.

– А ну-ка! Вернись! Не будь тварью безрогой!

Мужчина остановился, потом без видимой охоты направился к телеге купца. Какора тыкал ему под нос то кусок покрывала, то заморской работы меч, то женские украшения из зеленого стекла. Мужчина все это отклонял рукой, шурил глаз, веселился в душе от стараний купца.

– Э, – сказал он, – а белого бобра ты видел когда-нибудь?

– Чего? Что? – не понял Какора.

– Белого бобра, спрашиваю, когда-нибудь видел?

– Белого? Бобра? Врал бы ты кому другому, а не Какоре, добрый человек!

– Дак что ж с тобой разговаривать! – пожал плечами мужчина и снова наладился уходить.

– Ну! – взревел Какора. – Вот осел божий! Да ты говори толком! Бобер?

– Бобер.

– Белый?

– Белый!

– Врешь!

– А ежели вру – так и уйду себе с богом!

– Ну! Гей-гоп! Стой! Что хочешь?

– А ничего.

– Как это?

– А так: не меняю.

– И почему?

– А пускай мне останется.

– Зачем же похвалялся?

– Дак чтоб ты знал, что у меня белый бобер есть, а у тебя нет! – Мужчина беззвучно рассмеялся прямо в нос Какоре и теперь уже пошел от купца, не слушая его проклятий и угроз.

– Ну и людишки! – обращаясь снова к Сивооку, почесал в затылке Какора. – Видал такого дурака?

Он снова попытался привлечь дикую душу Сивоока, ибо чувствовал себя, наверное, одиноко и неопределенно, забредя в этот город, который сразу послал на них то дикого ревучего зверя, то лукавого человека, то невероятной красоты святыню.

– Засмотрелся на это диво? – кивнул Какора на храм. – Вот поедем со мной в Царьград, так увидишь там Святую Софию, а еще тысячу церквей и монастырей, которых нет нигде на свете, да золото и камень другой, да мусию, да сосуды, да иконы. Держись Какоры – не то еще увидишь!

Снова пришло несколько горожан; теперь были не только мужчины, но и женщины; волосы у них были русалочьи и

глаза такие, что утопал ты в них насквозь и словно бы осыпало тебя попеременно то ледяными иголками, то горячим огнем. Какора развеселился, люди подходили и подходили, одни что-то там несли, у других вспыхивали в руках при свете солнца густым ворсом дорогие меха; кто нес мед, кто мясо, уже и не для обмена, а просто для угощения прибывших гостей.

Купец раскладывал свой товар, расхваливал, сыпал словами, приглашал, предлагал, набивал себе цену.

– Ну-ка, навались, берите ромейские паволоки, хоть и самого князя в них можно одеть, не то что ваше полотно, водой моченное, солнцем беленное, а тут одной золотой нитки хватит, чтобы окутать весь ваш город с его валами и частокколами. А это ножи, хоть на медведя с ними, хоть на тура иди – ребра раскроют, голову отрежут при одном взмахе! А тут орех мускатный, из самой Гиндии, за пригоршню семь волов дают. Да и знаете ли вы, что такое волю? А шафран – из самой Персиды, опять же за пригоршню коня нужно отдать. А с вас – то и двух мало будет, ибо никто в такую даль не забьется, кроме Какоры, а Какора – это я. Гей-гоп! А уж перец – это лишь на золото! Вес на вес. Да только где вам взять золото, вы, наверное, и серебра еще не видели. Вон у меня отрок есть, у него на шее медвежий зуб в золото оправлен, гляньте и увидите!

Тогда вышел вперед дебелий мужчина, задрал длинную сорочку и из-за пояса портов достал что-то, завязанное в

грязную тряпку. Неторопливо развязав свой узелок, мужчина издала протянул на раскрытых ладонях свою тряпочку Какоре; сейчас этот лоскут казался еще грязнее, потому что на нем сверкающим комком, величиной с кулак, лежал золотой слиток.

Какора рванулся к золоту, но, видимо, вспомнив о лукавом владельце невиданной белой бобровой шкуры, равнодушно причмокнул и, прищурившись на тихий блеск золота, сказал:

– Хочешь обменять?

Мужчина молчал, и все молчали. Но еще один на такой же точно захватанной тряпке с другой стороны показал Какоре кучку разноцветных камушков, от которых у купца уже и вовсе хищно загорелись глаза. А там одна из женщин, старая-престарая, с потемневшим лицом и увядшей улыбкой, показала Какоре золотую гривну на руке, сделанную в виде тура, который пытается рогами поддеть большое золотое яблоко, а задними ногами точно такое же яблоко отталкивает.

– Так как, – пересохшим голосом произнес Какора, – откроем обмен?

– А зачем обмен? – сказала женщина с золотыми яблоками на руке. – Хочешь есть-пить, так бери. Гостем нашим будешь. Что понравится – подарим, да и уходи себе. А мы останемся здесь.

– Не годится так, – сурово сказал Какора. – Обычай всюду такой, чтобы меняться. Ты мне – я тебе. Вы имеете золо-

то, драгоценные камни, а у меня... – Он снова кинулся раскладывать товар, доставать оружие, посуду, разные причиндалы, крестики из твердого маслянистого дерева, маленькие иконки на тесемках и тонких верижках.

– Что у нас есть, то нам и останется, – сказал из толпы один из мужчин. – А твое пускай тебе остается.

– Да зачем же оно мне! – изумленно воскликнул Какора.

– А раз оно тебе ни к чему, то нам и тем более, – засмеялся кто-то сзади.

Купец взмок от напрасных усилий добиться толку со странными горожанами. Нацедил из бочонка меду, приник к серебряному ковшу, поглядывая своими выпученными глазами на людей, потом долго причмокивал, протянув ковш:

– Ну, кто хочет?

Вперед выступил обладатель золотого слитка, взял ковш, неумело хлебнул, поперхнулся, потом все-таки допил, посмотрел на своих:

– А вкусное! У нас не такое.

– Ге-ге! – с довольным видом похлопал его по плечу так, что тот даже присел, Какора. – Еще и не такое имею. Так начнем обмен! Ты мне золото, а я тебе бочонок меду!

– Да возьми ты его себе, ежели оно тебе так по душе, – просто сказал мужчина и выкатил из тряпки слиток прямо в горсть Какоры, а тряпочку не дал, спрятал снова под сорочку.

– Бери бочонок! – крикнул Какора. – Все бери, что хо-

чешь! Выбирай!

– Да зачем мне? – почесал за ухом мужчина. – Пускай вот она отведаст твоего питья...

Он кивнул на молодницу, у которой из полотняной сорочки выбивались женские прелести. Какора мигом наполнил ковш, со смешным поклоном подскочил к женщине, хотел сам напоить ее, но она оттолкнула мохнатую руку купца, наклонилась к ковшу, пригубила, искривилась.

– Горькое! – засмеялась она и начала смотреть на Сивоока так, будто только что его увидела.

Хлопец зарделся, попытался спрятаться за телегой, но и там преследовал его взгляд молодницы, ее орехового оттенка глаза вселяли в него возбуждение, которого он не знал еще ранее, а может, это просто у него кружилась голова от длительного голода, потому что после смерти Лучука у него еще и крошки не было во рту.

Он обошел коней, очутился среди горожан, на него поглядывали доброжелательно и открыто, и он тоже чувствовал себя своим среди этих красивых и таких непривычно простых людей. Какая-то девочка держала в деревянной мисочке вареное мясо. Он взглядом спросил ее согласия и, получив разрешение, взял кусочек мяса, отправил его в рот. С другой стороны кто-то подал ему горшочек с кашей, еще кто-то сунул кружку с питьем, настоящим на травах, видно, хмельным, потому что в голове у Сивоока закружилось еще сильнее, чем от ореховых глаз молодницы, и именно тут

оказалось, что сосуд подала она же – молодлица с глазами как сплошной грех.

Она игриво задела его локтем, засмеялась звонким смехом:

– А не осилишь жбан? Что ж ты за муж еси?

– Мал я, – стеснительно ответил Сивоок.

– Ой, гляньте на него! – молодлица громко расхохоталась. Забежала с другой стороны, толкнула Сивоока уже сильнее, но парень не сдвинулся с места. – Видели такого малого! – выкрикивала неугомонная молодичка. – А откуда же ты взялся у нас тут?

– Оттуда, – махнул Сивоок рукой в сторону леса.

– Да там люди лишь исчезают, – вмешался в разговор один из мужчин, – а приходиться оттуда – невиданное дело.

– Пришли же мы с купцом, – пробормотал Сивоок. – А вы кто такие? Что за город ваш?

– Радогость. – Молодичка, видимо, не хотела никому уступить своего гостя. – Город наш Радогость называется, а меня кличут Ягодой. А ты как зовешься?

– Сивоок.

– Почему же так?

– Не ведаю. Видать, из-за глаз.

– А какие же глаза имеешь? Взгляни на меня.

Сивоок вспыхнул до корней волос.

– Посмотри мне в глаза, посмотри.

Но как же он мог смотреть в ее бездонные глаза! Сиво-

ок попытался было выбраться из толпы и спастись хотя бы возле Какоры. Но Ягода была быстрее не только телом, но и мыслью.

– Подожди-ка, поведу тебя к моей тетке, – сказала она, – тетка моя Звенислава хочет тебя видеть. А ей отказывать негоже.

Молодица схватила Сивоока за руку, потащила, расталкивая людей, тархтела неумолчно:

– Тетка Звенислава у нас в величайшем почете. Потому как в Радогости женщины... Ты не ведаешь еще? Мужчин у нас мало... Исчезают в пущах... Идут и не возвращаются... И никто не может понять, что же это такое... Когда-то у нас были такие мужчины... Ой, такие же!.. А теперь видишь!.. И мой муж не возвратился из пущи... И все нам самим приходится... Вот так и тетке Звениславе... Тетя Звенислава, вот отрок, а зовется смешно: Сивоок.

Они остановились возле той темнолицей женщины, у которой на руке была золотая гривна с яблоками. Сивоок не столько смотрел на старую Звениславу, сколько на ее гривну, ибо ничего похожего еще нигде не видел. Золотой тур с изогнутой спиной, будто Рудь в давнишней своей стычке со старым Бутенем, упираясь задними ногами в огромное золотое яблоко, пробовал поддеть точно такое же яблоко рогами. Каждый мускул, каждая шерстинка на туре были отчеканены с подробностями почти невероятными. Кто бы это мог такое сотворить? И откуда привезена гривна? Неужели сюда

могли добраться еще какие-нибудь гости, кроме них с Како-рой? Ведь и назван город Радогость, видимо, в насмешку над тем далеким и широким миром, который никогда не одолеет тайных и опасных тропинок, ведущих сюда.

– У тебя глаз жадный, как и у твоего купца, – сурово сказала Звенислава, заметив, с каким вниманием всматривается Сивоок в ее гривну.

Хлопец зарделся еще больше, чем раньше от приставаний молодички с соблазнительными глазами.

– Люблю красивое... – пробормотал он. – Был у меня дед Родим... Он... творил богов – Световида, Дажьбога, Стрибога, Сварога... В дивных красках... На глине и на дереве... С малых лет привык...

– Рехнувшийся малость отрок, – прыснула Ягода, – здоровый, как тур, а бормочет про какую-то глину... Ведь это же дело женское... Тетка Звенислава вон...

– А кыш, – прикрикнула на нее старуха, – замолчи, пускай отрок посмотрит и у нас... Жилище наших богов...

– Видел снаружи, – сказал Сивоок, – уже все осмотрел... Чудно и прехорошо... Нигде такого нет, в самом Киеве даже...

– А что Киев? – молвила Звенислава. – Киев сам по себе, а Радогость – сам... Покажу тебе еще и середину, ежели хочешь.

– А хотел бы, – несмело промолвил Сивоок.

– Мал еще еси? – догадалась Звенислава.

– Не знаю, может, шестнадцать лет, а может, и меньше...

Дед Родим погиб, а я не ведаю о себе теперь ничего...

– Вот что, Ягода, не приставай к хлопцу, – сурово велела Звенислава. – Приведешь Сивоока потом ко мне, покажу ему жильё наших богов.

Но тут протолкался к ним Какора, пьяный в дымину, раздраженный тем, что не удалась торговля. Услышал последние слова Звениславы и тотчас же ухватился за них.

– А мне? – взревел он. – Почему мне не показываешь здесь ничего? Кто здесь гость? Я или молокосос? Я – Какора! Хочу посмотреть ваш город! Почему бы и нет!

– Хочет, так покажи ему, Ягода, – сказала, отворачиваясь, Звенислава.

Ягода рада была еще побыть с Сивооком, ее не испугала расхристанная фигура купца, маленькая женщина смело подкатилась к Какоре, дернула его за корзно, закричала так, что он даже уши закрыл:

– Ежели так, то слушать меня, и иди за мной, и не отставай, и не приставай, потому что позову мужей, да угостят палками, а у нас хоть мужей и мало, да ежели палками измолотят, то ого!

– Ну-ну! – загремел Какора, пытаясь обнять Ягodu, но наткнулся рукой лишь на пустоту, покачнулся, чуть не упал, попытался прикрыть свою неудачу разухабистой песенкой, сыпал первыми попавшимися словами вдогонку Ягоде и Сивооку, а сам был настолько пьян, что вряд ли и видел что-

нибудь.

Шли по городу, и никто им не мешал. Могло показаться, что первые основатели Радогостя выбрали совсем непригодное место: несколько холмов и глубокие ложбины, при нападении врагов и отпора не дашь, потому что нападающие будут валиться тебе прямо на голову. На главном из холмов стояла святыня, а остальные и вовсе светились наготой, на тощей земле не росла даже трава, зато в балках, где раскинулись хаты радогостан, аж кипела зелень садов, левад и дворов, сверкали там ручьи, а над ними тихо стояли вербы, березы и ольха; между дворами светились полоски ржи, проса и разных овощей; здесь паслись скотина, овцы, кони, в хлевах похрюкивали свиньи. Навстречу им часто попадались люди, и никто не удивлялся, словно бы Какора и Сивоок жили здесь постоянно. Какора то и дело покрикивал пьяным голосом на встречных:

– Ну, как ся?

– А так ся, – отвечали ему.

– А почему же?

– А потому же.

– Ну и что же?

– Вот и то же.

– Почему они так молвят? – удивлялся Сивоок, следуя за Ягодой.

– Потому что так с ними речь заводит твой купец, – улыбалась она.

– Так, будто не хотят ничего поведать.

– Может, и не хотят.

– Не верят нам, что ли?

– А все доверчивые ушли от нас. Ушли, да и не вернулись.

Остались одни недоверы.

Она дошла до ручейка, неторопливо забрела в воду, принялась мыть ноги, показывая свое соблазнительно белое тело. Сивоок отвернулся, а Какора двинулся к Ягоде, намереваясь ущипнуть ее за какое-нибудь место. Она услышала его учащенное дыхание, своевременно извернулась – Какора неуклюже сел в воду, а Ягода, заливаясь смехом, выскочила на зеленую травку, села, протянула мокрые ноги.

– Отдохнем?! – весело воскликнула она. – Потому что ходить нам еще да ходить!

– А не буду больше ходить. Спать хочу, – сказал Какора, который и не обиделся на Ягоду, а только чуточку присмирел. – Завтра доходим до конца.

– Завтра мне уже не захочется, – засмеялась Ягода.

– Так пошли еще к озеру, – зевая, промолвил Какора, которому, видимо, не очень хотелось бродить по чужому городу в мокрых портах.

– А к озеру нельзя! – сказала Ягода.

– Почему бы?

– А потому!

– Да ты говори!

– А я говорю.

– Глупая девка, – сплюнул Какора, – была бы ты мужем, так я бы тебе хоть голову свернул, а так – только тьфу, да и только!

– Ворота к Яворову озеру только тетка Звенислава может открыть, – пропуская мимо ушей угрозы Какоры, сказала Ягода.

– А что там, в озере? – полюбопытствовал Сивоок.

– Боги живут.

– Вот полезу на вал и взгляну на ваше озеро, – пробормотал Какора и в самом деле потащился по крутому склону, на вершине которого темнели полузасыпанные землею, заросшие травой ребристые клетки городского вала.

– Пойди-пойди, – равнодушно сказала Ягода.

– Я тоже хочу посмотреть, – взглянул на нее Сивоок, словно бы просил разрешения.

– Ну пойдя, а я ноги посушу на солнце, – засмеялась молодичка, – а потом придешь ко мне. Правда же, придешь?

Сивоок ничего не ответил, потому что такая речь была еще не для него, хотя возраст у него был уже вполне подходящий.

Сивоок догнал Какору и обогнал. Первым увидел внизу, под валом, озеро, напоминавшее кривой серп, стиснутый отовсюду такими нетронутыми-очаровательными лесами, что они непременно искусили бы к новым странствиям, если бы человек не знал там лиха. Вдоль берегов озера, забредя в черную воду, стояли могучие, многолетние яворы – си-

зо-черные стволы их поднимали курчавые шапки листьев на такую высоту, что они сравнивались с городом. Между яворами зеленеющими мертво чернели усохшие. Видимо, так окаменевают в вечной неподвижности умершие боги, если только боги могут умирать.

Какора равнодушно скользнул взглядом по озеру, взглянул на узкие мостки, ведущие к воде из низеньких ворот, тех самых, которые имела право открывать лишь Звенислава, загадочная женщина, которая, кажется, у радогощан обладала необычайными полномочиями. Потом купец направил ухо снова в сторону города. Где-то неподалеку постукивали молоты, так, будто под одним из холмов скрывалось не менее сотни кузниц. Сивоок представил себе, как сидят в уютных, пропахших дымом хижинах мудрые деды и маленькими молоточками куют серебро и золото, выковывают такие гривны, как у Звениславы на руке, а рядом, в черных кузницах, среди зноя и красного пламени, кузнецы изготавливают мечи, куют их в две руки одновременно, и мечи эти должны быть непременно такими тяжелыми и широкими, каким был когда-то меч деда Родима.

– Переночуем, а на рассвете – айда, – совершенно трезвым голосом сказал Какора.

Сивоок сделал вид, что не слышит. Он стоял на валу, среди густой, не топтанной уже, видимо, множество лет травы, смотрел то на Яворово озеро, закованное в объятия лесов, то на город, с его лысыми пригорками-холмами и зелено-кипу-

чими ложбинами, видел внизу, на зеленой мураве, Ягоду с ее маняще белыми ногами, слышал из-под земли звон невидимых молотов, которые ковали где-то тихое серебро, золото и режущее железо, был поднят над миром на этих валах, но и ощущал скованность в сердце, словно эти валы пролегали через самое сердце, и необъяснимая печаль толкала его за эти валы, за ворота, назад, в широкий мир, выйти, вырваться, выбежать, удрать. Вечная страсть к побегу. Откуда и от кого? Разве не все равно?

Но сказал совсем другое:

– Зачем нам торопиться?

– До окончания тепла нужно выбраться отсюда, – сказал Какора. – Должны быть в Киеве до первых холодов. Дорога трудная и длинная.

– Не знаю, пойду ли я, – ответил хлопец.

– То есть как?

– А зачем ты мне нужен? Лучука убил. Мы к тебе с добром, а ты – злом ответил?

– Не ведая.

– Такая у тебя душа нечистая. Не могу я с тобой.

– Заберу, – пригрозил Какора. – Присилую.

– Попробуй.

– А если нет – мечом ударю, как и твоего сопливого.

Он не успел закончить. В Сивооке закипело то непостижимое, что получил он в наследство от деда Родима, он подскочил к купцу, схватил его за корзну, встряхнул, а когда от-

пустил, тот полетел торчком и плюхнулся крестом в густую траву. Хлопец встал над ним, сторожко следя за каждым его движением. Когда правая рука купца потянулась к мечу, Сивоок молниеносно наклонился, отбросил руку купца, выхватив у него из ножен меч, и уже спокойно сказал:

– А теперь вставай.

– Так вот же и не встану! – в отчаянии заревел Какора.

– Лежи, ежели хочешь!

– И буду лежать, пока трава сквозь меня прорастет.

– Лежи.

– А ты в аду гореть будешь за то что душу христианскую погубил.

– Бесовская у тебя душа, – сказал Сивоок и, не оглядываясь, начал спускаться с вала к Ягоде, которая уже обеспокоенно посматривала вверх.

Какора еще немного полежал, потом встал, почесываясь и сквозь зубы проклиная своего спутника, побрел следом за непослушным отроком.

Ягода стояла внизу с поднятым вверх личиком, казалась еще меньше, чем до этого, зато глаза ее словно бы увеличились до необозримости, заслонили Сивооку весь мир, он уже и не знал, ее ли это глаза или глаза далекой и наполовину забытой Велички, или же просто зеленая сочная трава и таинственность лесных зарослей, которые манят его к себе, пробуждают какие-то еще неведомые силы в теле. А когда очутился возле Ягоды и увидел ее настоящие глаза, увидел,

как они блестят в ожидании, в искушении всем женским, что только возможно и чего он еще не ведал, то застенчиво от-вернулся и пробормотал:

– Глупый купец: боялся, чтобы не наткнуться на меч, ко-гда будет спускаться, вот и отдал его мне.

– У него такое брюхо, что и наткнуться может! – засмея-лась Ягода.

– Завтра трогаемся, – неизвестно для чего болтнул Сиво-ок.

Ягода молчала.

– На рассвете, – добавил он еще.

Ягода молчала.

– Потому как далеко до Киева.

Ягода не промолвила ничего.

– А дорога тяжелая.

– Ну и поезжай себе, чего разговорился, – небрежно ска-зала она изменившимся голосом.

– Переночуем и – айда, – словами Какоры сказал Сивоок.

– Ночуйте, – уже и вовсе холодно промолвила Ягода. –
Поставьте шалаш на торжище да и спите. Тепло.

Тут к ним подоспел запыхавшийся Какора; он еще изда-лека махал руками, угрожал кулаками Сивооку, но хлопец не дал ему разбушеваться – протянул навстречу меч, рукояткой вперед, так что купец даже попятился от удивления.

– Не боишься? – вопросительно прохрипел он.

– Отчего бы должен бояться?

– Ну-ну, – вздохнул Какора. Но как только засунул меч в ножны, сразу же ожил и загорланил: – Гей-гоп! Теплу жону обойму!

Раздвинув руки для объятий, Какора неуклюже пошел на Ягду, она вывернулась, бросилась бежать.

– Пошли теперь к Звениславе! – крикнула гостям. – Веле-ла, чтобы привела вас к ней!

– В конце концов купец должен быть купцом, а женщина – женщиной, – пробормотал Какора, потом увидел Сивоока и добавил: – А молокосос – молокососом.

У Звениславы не двор, а цветник. Ничего, кроме цветов. Краски возможные и невозможные. Тут были цветы даже черные, не было лишь зеленых, да и то, видимо, из-за того, что хватало зеленых листьев. И хата у Звениславы тоже была вся в ярких цветах, снаружи и изнутри; и так напомнило все это Сивооку деда Родима, что ему даже захотелось спросить у старухи – не знала ли она случайно Родима, но вовремя спохватился.

– Любо мне среди этого, – провел он рукой, и старуха улыбнулась, потому что редко ей встречались такие чуткие к красоте души.

– Красивый город, – добавил Какора, – но люд вельми странный.

– Почему же? – спросила Звенислава, приглашая гостей садиться за стол, за которым уже были яства и густые напитки в глиняных, радужной расцветки жбанах.

– А не меняют ничего!

– Видно, не хотят.

– Почему же не хотят?

– Потому как не верят.

– Купец – гость. Ему всюду верят.

– Да только не у нас. Тут доверчивых не осталось. Все ушли и не вернулись.

Второй раз слышал это Сивоок и никак не мог понять, что бы это означало.

– Бог вам нужен новый, – степенно произнес Какора, – христианский Бог все сердца склоняет в доверии.

– У нас есть свои боги. От предков достались нам боги, других не желаем.

– Христианского Бога славит весь мир, – посасывая вкусный напиток, посланный, право же, не христианским Богом, разглагольствовал Какора, – эхо проносится между морями и лесами. А вы сидите в своем городе и – ни с места.

– А что нам?

– Богатство новое добыли бы.

– Нам своего хватит.

– Серебра-золота, дорогих паволок, сосудов.

– Все у нас есть: леса и воды, золото и серебро, хлеб и мясо, рыба и мед, воздух здоровый, земля щедрая, лес, дающий мед, воды прозрачные, жены красивые, мужи умелые, кони быстрые, коровы молочные, овцы с мягкой шерстью. Чего нам еще?

– Ну, «чего», – пережевывая копченого угря, сказал Какора, – человек должен быть человеком, как купец купцом.

– Вот и оставайся, а мы тоже останемся сами собой. – Звенислава кивала прислугам, одетым в длинные белые сорочки, чтобы подкладывали гостям, подливали им, сама же не прикоснулась ни к еде, ни к напиткам. На Ягоду, прошмыгнувшую через комнату, взглянула так сурово, что та исчезла мигом.

– У христианского Бога храмы вельми красны, – не в лад выпалил Сивоок, у которого глаза разгорелись от красок, и, наверное, впервые в жизни ему самому захотелось поколдовать с красками и сотворить что-то небывалое, невиданное доселе.

– Не знаю, какие храмы, потому что и наших богов жилье не хуже, – спокойно сказала Звенислава, – а только ведаю, что тому Богу первой поклонилась бабка нынешнего князя киевского⁵, а жена была коварной и неправой. Ибо когда пришли к ней послы нашей Древлянской земли да спросили, не пойдет ли она за князя нашего Мала, то не отказала она честно, а осыпала их хитростями, – дескать, любя мне ваша речь, мужа моего мне уже не воскресить, но хочу вас завтра перед людьми своими угостить, а сегодня возвращайтесь в лодью свою, и лягте в лодье, и величайтесь, а когда утром пошлю за вами, то скажите: «Не поедем ни на конях, ни на возах,

⁵ В 955 (956) году Ольга посетила Царьград, была покорена величием греческой религии и приняла христианство.

ни пешими не пойдём, несите нас в лодье». И так случилось, и понесли их в лодье во двор к княгине и бросили вместе с лодьей в глубокую яму, вырытую по велению княгини. А она еще и пришла, да наклонилась над ямой, и спросила: «Хороша ли вам честь?» А потом велела сжечь древлянских слов и засыпать землей.

– Потому что древляне убили ее князя⁶, – сказал Какора.

– Пускай бы не шел в нашу землю.

– Подать собирал.

– А почему должны ему платить?

– Потому что князь киевский.

– Так и пускай живет в Киеве и питается тем, что имеет.

– Мало ему. Земля велика.

– А мало, так пускай попросит, а не берет силой.

– Князь никогда не просит, он берет.

– Берет, так его тоже возьмут.

– Не усидите долго так. – Купец почти угрожал.

– Давно сидим и прочно. И никто не знает, где сидим.

– А вот я нашел.

– Может, нашел, а может, и нет. – Звенислава еле заметно

улыбнулась кончиками губ.

– Вернусь в Киев – расскажу.

– Может, вернешься, а может, и нет, – снова загадочно

⁶ В 945 году Игорь Рюрикович пошел к древлянам и потребовал от них непомерно большую дань. Древляне во главе со своим князем Малом жестоко убили Игоря: его растянули между двух деревьев.

промолвила Звенислава.

– А что?

– Да ничего. Не выпустим тебя. Будешь с нами, город наш Радогость зовется. Живите себе. Жен вам дадим, хлеб и мясо, мед.

– Нет, нет. – Какора забыл и о еде, встал, нависая над Звениславой своей мясистой тушей. – Может, еще в жертву меня своим богам принесешь? Го-го! Какора не такой! Какоре никто не может повелевать! Какора – вольный христианин! А может, за мной целая дюжина идет? А?

– Ежели хочешь – уезжай. Не боимся, – спокойно сказала Звенислава.

– Поедем! Го-го! Айда, Сивоок! Благодарим за хлеб-соль.

В словах Звениславы прозвучало столько неожиданно зловещего, что и Сивоок, забыв о своих распрях с Какорой, забыв об очаровании радужностью жилья Звениславы, забыв даже про Ягоду, которая больше не появлялась, послушно встал, молча кивнул головой в знак благодарности хозяйке, пошел к двери следом за своим хотя и случайным, но все же хозяином.

Их никто не задерживал.

Спать расположились на торговой площади, Какора соорудил себе шалаш на телеге, Сивоок лег под телегой и уснул тотчас же, потому что впервые после смерти Лучука как-то оттаял душой и снова стал просто утомленным парнишкой, переполненным удивительными впечатлениями. Но и сквозь

мертвую усталость проник ночью к нему сон; снилось ему, что снова переживает он сразу три смерти: смерть деда Родима, смерть Лучука и, что уже и вовсе неожиданно-негаданно, смерть Велички – и плачет над всеми тремя смертями самых дорогих на свете людей, и слезы заливают его насквозь, он плавает в слезах, и не теплые они, а холодные, как лед, и он вот-вот утонет в них. Чтобы не утонуть, он проснулся. И в самом деле, он весь был залит холодной водой. Вода журчала из всех щелей в телеге, а по бокам, на открытом месте, лилась с темного неба сплошными потоками. Чьи-то руки тормозили Сивоока, он никак не мог проснуться, дождь для него все еще был слезами из тяжкого сна, а неведомые руки напоминали руки Велички. Молчаливо сверкнула широкая молния, вырвала из тьмы белое, словно мертвое, женское лицо над Сивооком, и лишь тогда он проснулся совсем и узнал Ягоду возле себя, услышал ее испуганный, встревоженный, озабоченный шепот: «Скорее, скорее, скорее!» Молча подчиняясь ее рукам, он выбрался из-под телеги, нырнул в неистовые потоки воды, зацепленный крепкой рукой женщины, побежал куда-то, наклонялся к каким-то приземистым дверям, в которые вталкивала его Ягода, а потом стоял в сухой темноте; где-то яростно бушевала гроза, били молнии, гром раскалывал небо, но только не здесь, не в этой притаившейся тишине, где только биение твоего сердца да еще чьего-то, да обжигающее тело в насквозь промокшей одежде прижимается к тебе, толкает тебя дальше, дальше,

в еще большую темноту, в еще более глухой уголок: «Сюда, сюда, сюда!»

Прижималась к нему, обнимала его; бессознательно, неумело он отвечал ей. Это были его первые объятия. Ее уста с горьким привкусом трав были на его устах, и на его щеках, и на глазах, а он, слышавший об этом не только из глупых песен Какоры, пытался ответить ей, это были первые его поцелуи. Она что-то шептала ему, и он тоже шепотом отвечал ей. Оба пылали в страшном огне, оба были в этот миг одинаковы, хотя она уже испытала когда-то роскошь тела, а он еще не вышел за пределы детства, возможно, потому и она возвратилась в состояние первобытной нетронутости; глаза ее теперь не тревожили хлопца, и она это знала, ей было мило только так, только чувствовать его рядом с собой, гореть, гореть, обжигать и не сторгать и не вспыхивать.

Так и промелькнула ночь в пьянящем борении их молодых тел. Рассвет проник сквозь высокие треугольные окошки, они увидели друг друга, утомленные и изнуренные, но радостные, увидели самих себя после бесконечных прикосновений, от каждого из которых вспыхивает кровь; они были в боковой каплице храма, вдоль стен стояли боги, оправленные в серебро и золото, боги в диких красках родючего и плодородного мира, на них посматривали Ярило и Мокош, бесстыдно нагие боги стояли вокруг этих двоих, в одежде, разметанной и расхристанной, ибо ведали всемогущие боги, что самого главного между этими двумя так и не произошло.

А хлопец и женщина и рады были этому. В особенности же когда в треугольных окошках появился дневной свет.

– Куда ты меня привела? – испуганно спросил Сивоок, и это были первые отчетливые слова за все время.

– Молчи! – закрыла ему рот ладонью Ягода. – Сиди тихо, так нужно. Боги нам простят. Они добрые.

– А люди? Звенислава? – спросил Сивоок.

– Они не будут знать.

Какоры на торгу не было. Исчез бесследно. Он не стал ни искать, ни ожидать Сивоока. У него были свои неотложные купеческие дела, он торопился в дорогу. На торговой площади остался лишь конский навоз да имущество Сивоока: мех и палка.

Так Сивоок остался жить в Радогосте и учиться у тетки Звениславы познавать не только внешнюю, но и внутреннюю сущность, душу красок. У деда Родима он видел лишь, какая краска куда накладывается, воспринимал это как непоколебимую данность, теперь же от доброй сердцем старой женщины узнавал, что каждый случай требует своей масти, своего оттенка и что краски, подобно людям, бывают веселыми, чистыми, ласковыми, доверчивыми, невинными, грустными, скучающими, крикливыми, жалобными, холодными, теплыми, мягкими, твердыми, острыми, тихими, въедливыми, сладкими, терпкими, томящими, торжественными, достойными, тяжелыми, понурыми, убийственными. Он знал теперь, что красный цвет означает любовь и мило-

сердце, небесный – верность, белый – невинность, радость, зеленый – надежду, вечность, черный – печаль, грусть, а желтый – ненависть, измену, золотой же – святость, совершенство, мудрость, уважение.

Он пробовал накладывать цвета на глину и на дерево, и у него получилось сразу, он даже не поверил, а Звенислава сказала, что у него что-то такое, чего нет ни у кого из людей, а именно этим и определяется тот, который может сотворить из небытия новый мир богов и узоров.

По ночам, когда ничто не чинило преграды, к нему приходила Ягода. Снова между ними было то же самое, что в первую ночь в храме. Но на большее Сивоок не отваживался, а когда разгоряченная Ягода пыталась дознаться, почему она не мила ему, он рассказывал ей про Величку.

– Да ее ведь нет! – удивлялась Ягода.

– Где-то есть.

– Но здесь, рядом с тобой, я!

– Стоит она предо мною.

– Какова же она?

– Тоненькая и маленькая. Будто стебелек.

– Глупый!

Она целовала его, убегала, угрожая больше не прийти, но приходила еще, и снова начиналось то же самое, пока не случилось неизбежное. Тогда уже шла по лесам пестрая осень, играли в пущах туры, падали первые заморозки на землю, в Радогосте на ночь протапливались хижины, и Сивоок тоже

разводил в своем жилище полыхающий костер, и вот рядом с ним, не выдержав пыла огня внутреннего и огня костра, Сивоок стал мужчиной. Ягода бежала от него, пообещав прийти еще и назавтра, но уже не пришла больше до скончания века.

Утром у ворот Радогостя остановилась дружина с красными щитами. Внезапно и спокойно появилась ниоткуда, выступила из бора, словно бы рожденная им: окутанная сизой пеленой холодного тумана, то ли стояла неподвижно, то ли двигалась прямо к тому замшелому мосту и к тем воротам, сквозь которые входили когда-то в Радогость Какора и Сивоок.

Но Сивоок еще не видел того, что происходило пред мостом, у древних священных боров, подернутых холодным осенним туманом. Он увидел дружину несколько позже, а тут, в хижине, отведенной ему Звениславой, первое, что увидел, была серость, которая покрыла воспоминания о ночи, о том, что случилось ночью, серость стыда и отвращения. Он лежал на широкой дубовой скамье, покрытой медвежьей шкурой, остывшая хижина дышала на него холодным воспоминанием о том, что случилось ночью, а может, перед самым рассветом, он хотел бы, чтобы ничего этого не было, но хорошо знал, что возврата уже нет, что он никогда не вернется в детство, из которого сам выскочил, зато он мог хотя бы на какой-нибудь час спрятаться от самого себя, мог возвратиться в сон. Он натянул на себя теплую шкуру, где-то бы-

ли слышны крики и топот, столь непривычные и странные в тихом всегда Радогосте, и все это вгоняло его в сон. Серая пелена заволакивала ему не только глаза, но и мозг, не верилось, что так недавно, еще только вчера, он жил в радужном свете наставлений Звениславы, а теперь была серая зола в угасшем костре, серость в окнах, серость во всем. Он уснул, и приснилась ему тишина, тишина на Яворовом озере, тишина в пущах, а в городе тишины не было в городе били в деревянные била и колотушки, стучали в дверь, кричали, бежали, топали. И Сивоок тоже должен был бежать, разбуженный кем-то, он толкнул тяжелые наружные двери, тревожный холод резко дохнул ему в лицо, он увидел людей, все бежали в направлении к охраняемым медведем воротам, дети еще где-то спали, здесь было много женщин и мужчин бежали все те, которые жили на бесплодных взгорьях, и те, которые на плодородных левадах, и те, которые в ярах, мужчины несли оружие – кто дубину, кто копье, кто меч или топор, у одних были большие кожаные щиты, у других – деревянные заслонки, у третьих – и вовсе ничего, мужчины несли оружие неохотно, так, будто там где-то должен был появиться разъярившийся вепрь, и никто не хотел торопиться к нему, надеясь, что кто-нибудь убьет его еще до того, как ты туда доберешься, ибо никогда не следует спешить к беде, а тем более искать ее – она сама найдет тебя быстро и беспощадно.

Дурманяще пахли увядшие листья, хмель и калина, не хватало лишь привычного ежеутреннего дыма, но ни один

очаг не был разведен сегодня в Радогосте, потому что все бросились навстречу опасности, еще не веря в нее, еще только пытаюсь убедиться, еще проклиная не врага, который появился, подобно исчадию пущи, подобно глупой затее случая, а проклиная Родолюба, городского волокиту, старого проходимца, у которого была странная привычка не спать по ночам и бродить по борам и пущам, ибо, дескать, только там чувствовал себя свободно, только там дышалось ему вольготно и спокойно. Днем он приходил в город и спал на торговой площади, неподалеку от капища, а по ночам блуждал в лесах, и никакой зверь не трогал его, так, будто это вовсе и не человек, а тоже дик по имени Родолюб, а рода своего он не имел и не помнил, все равно считал себя как-то и чем-то обязанным Радогостю, ибо, заметив, что к городу приближается чужая дружина, прибежал на рассвете и поднял всех на ноги.

Выскакивая из хижины, Сивоок схватил свою палку просто для того, чтобы иметь в руках что-нибудь привычное, он считал это не оружием, а просто непременной принадлежностью самого себя, но, когда увидел, что все, кто может, несут оружие, уже заблаговременно помахивая им в сторону невидимого противника, Сивоок тоже замахал палкой так, будто это должно было быть грознейшее оружие, хотел показать, что и он муж, что не чужой здесь, что и на него могут теперь положиться, ибо позади у него остается нынешняя ночь, ночь особая – ночь радости и горя.

Он бежал, тяжело запыхавшись. Он утратил прежнюю легкость: видимо, человек обладает легкостью и живостью лишь до определенного предела. Потом он прирастает к земле, становится удивительно неповоротливым в движениях и поступках. Быть может, это и есть рубеж между юношеством и мужеством?

Раньше он мог бы просто спуститься со склона, взглянуть, что там происходит, мог возвратиться оттуда, мог бы и просто себе спать. Но он уже был мужчиной, опасность становилась неотвратимой не только для кого-то, но и для него.

Вместе со всеми Сивоок выскочил за ворота прямо к мосту, острый блеск солнца и оружия ослепил его на миг, солнце еще только пробивалось сквозь лес и туман, но уже несло в себе всю ярость, и этого было достаточно, чтобы огонь его собрался на кончиках вражеских копий, и эти копья продолжались в бесконечность и поражали каждого уже издалека, и прежде всего – в глаза. У кого был щит, тот прикрывался от проклятого блеска щитом, а кто и просто ладонью, и так стояли – с одной стороны конная дружина с красными щитами, подпираемая темными валами пеших воинов, с другой – запыхавшаяся, клокочущая толпа радогощан, которая с каждой минутой росла и от этого казалась еще более кипящей и шумной.

В узком пространстве между воротами и мостом становилось все теснее и теснее, начиналась давка. На валу и забороле толпились женщины Радогостя, подбадривая своих

мужей, ибо, как только появилась видимая опасность, сразу вошел в силу древний обычай, согласно которому мужчины должны воевать, а женщины только вдохновлять их на победу; правда, в Радогосте это правило последовательно не выдерживалось, многие женщины также были в толпе вместе с мужчинами здесь, внизу, зато на валу и забороле не было ни одного мужчины, – и самые старшие, и молодые бросились сюда, к воротам, все несли оружие, у кого какое было; самые храбрые выбежали аж на мост, на мосту тоже было полно народу, – быть может, это были и не самые храбрые, а просто вытолканные вперед, ибо все равно кто-то всегда должен быть впереди, а если уж ты очутился на виду и у своих и у врага, то должен показать все, на что способен, – так и начали передние радогощане свою дерзкую переключку с дружиной.

Сивоок тоже протиснулся вперед, тоже приблизился к тем, которые были перед самой дружиной, и от дружины отделилось несколько всадников, они прискакали на расстояние полета стрелы.

– Кто такие? – закричали радогощане.

– Великий князь Владимир.

– Что за князь?

– Из Киева!

– Так и сидите себе в Киеве!

– Все земли – киевские.

– Да не наша.

- Принесли вам крест.
- Несите назад.
- Князь шлет вам милосердие.
- Обойдемся!

Из толпы бесшумно вылетела стрела и вонзилась в землю перед одним из всадников. Пущена она была просто так, для испуга. Всадник вздыбил коня, круто повернул его, другие тоже стали поворачивать коней, поскакали к дружине. Вслед им сыпанули стрелы тоже без особой причины – лишь бы еще больше напугать непрошенных гостей. Однако из этого ничего не вышло. От дружины откололась изрядная часть, несколько сот всадников; выставив копья вперед, они помчались к мосту, все, кто был перед мостом, мигом кинулись убежать. Сивоок – вместе со всеми; и с этого момента течение событий для него утратило последовательность, лишь потом он смог понять, что случилось, но это было уже слишком поздно; да если бы это случилось и раньше, все равно он ничем не мог бы помочь радогощанам.

Вот так они летели, чтобы присоединиться к своим, прежде чем их настигнут дружинники князя, а на мосту тоже не стояли сложа руки: чуть ли не из-под ног у Сивоока и его товарищей выметнулись бревна, служившие настилом моста; бревна, оказывается, лежали ничем не закрепленные, держались просто благодаря своей собственной тяжести, а теперь их легко и быстро столкнули вниз, в глубокий ров, и передняя часть моста сразу ощерилась голыми брусьями;

всадники, достигшие рва, туго натянули поводья, кони затанцевали перед обрывом, дружинники застыли, а с этой стороны, с не разрушенной еще части моста, летели в сторону пришельцев насмешливые восклицания, едкие словечки:

- Почему же вы не прыгаете?
- Выпустите своего князя вперед!
- Щитами заслоните дырку!
- Они ведь у вас красные!
- А у нас щиты из skóry!
- Дудки вам войти в город!

С вершины холма доносились выкрики женщин; глухо гудели и напирали задние, которым хотелось увидеть дружинников, быть может, подбросить и свое словцо, столь долго вынашиваемое и обдумываемое, ибо в повседневных заботах слов требовалось мало, как-то обходились двумя-тремя, а уж коль подвернулся случай, тогда каждый высыпал все, что у него было, в особенности же в такой необычный случай, как теперь вот, потому и протискивались вперед те, которые минутой раньше колебались, пятились, не спешили вперед батьки в пекло, и теперь толкотня и неразбериха еще больше усилились, кто-то уже взывал о помощи, кого-то придавили, кого-то, быть может, и топтали, а тут еще вал взорвался женским криком, перепуганным визгом, этот визг упал с вала вниз, и уже возле ворот раздались крики мучения, позора и боли; там происходило что-то страшное и неожиданное, такое, что все, кто был на мосту и у моста,

словно бы качнулись в ту сторону и, оставив полуразрушенный мост, повернулись спинами к торжествующим дружинникам и ринулись к воротам и за ворота, и Сивоок пробился туда, опять-таки в числе первых, но лучше было бы ему и не пробиваться, ибо там кипел настоящий бой, там тоже, словно рожденные нечистой силой, гарцевали всадники с такими же самыми красными щитами, как и у тех, которые стояли у разобранного моста, а возле всадников рубились мечами и кололись длинными копьями пешие воины, тоже прикрываемые прочными щитами, воины умелые, безжалостные, жестокие.

На дороге лежал, пробитый многими копьями, огромный медведь, который когда-то так напугал у ворот Сивоока, падали убитые и раненые радогощане; быть может, и Сивоок упал бы убитым или раненым, если бы он и дальше лез вперед, в самое пекло, но перед глазами у него появился огромный всадник: ни конь, ни одежда всадника не были знакомы Сивооку, зато слишком хорошо знакома была для него фигура этого человека, а когда он увидел толстенную морду, когда сверкнул широченный меч в руке всадника, хотя мечом этим он никого и не рубил, ибо стоял в стороне на пригорке и только помахивал оружием, словно бы отгоняя от коня оводов или мух, то уже тогда хлопец сразу узнал пьяницу Какору и даже не удивился, что купец оказался здесь, будто он и не выезжал из Радогостя, спал себе где-то в укрытии, напившись крепкого меду, а теперь услышал шум да и при-

скакал, чтобы не прозевать добычу, ибо купец должен иметь прибыль со всего, на то он и купец. И как только Сивоок узнал Какору, сразу же, не задумываясь, бросился к пригорку, еще издалека размахивая своей дубиной и примеряясь к передним ногам коня, ибо даже теперь, когда вокруг рубились и кололись люди, когда лилась кровь, когда падали убитые ни за что и ни про что люди, Сивоок все еще не мог отважиться бить человека, который его не бьет, даже такого человека, как Какора; он метил только в коня, хотел свалить его, поставить на колени, а потом выбить из рук Какоры меч и хотя бы этим отомстить за смерть Лучука. А может, и еще за что-нибудь? За это появление Какоры в Радогосте, за этот неожиданный удар в спину защитникам города? За то, что привел сюда князя? Если кто-нибудь был виноват в том, что происходило в это утро, так вот он – перед Сивооком. И если уж Сивоок хотел мстить, то должен был мстить безжалостно. Но в душе его жило слишком много детского, он не умел с холодным разумом наносить удар, а еще хуже: не смог сразу распутать весь тот клубок событий, который разрастался сегодня с самого рассвета, начавшись с той минуты, когда Какора со своим обозом впервые тронулся на поиски Радогостя, чтобы преподнести его в качестве подарка князю за какие-то там выгоды и прибыли. Если бы мог, если бы знал, он бил бы Какору еще до того, как тот спохватится, но Сивоок по-глупому подбежал к коню, метя ударить палкой по передним ногам, и Какора вовремя его заметил, поднял коня

на дыбы, смял Сивоока, загремел:

– Гоп! Гоп! Держите моего работника!

Сивоок вывернулся из-под грузного коня, чтобы не быть раздавленным, побежал вниз, а за ним верхом на жеребце с ревом мчался Какора; кто-то пытался преградить путь хлопцу, и тут уже он, не глядя, махнул палкой, и тот кто-то, не охнув, упал на землю, потом хлопца хватали с двух сторон, и он бил своей дубинкой направо и налево, вместе с радогощанами, пока его не оглушили чем-то, и он долго лежал среди мертвых, и по нему топтались люди и кони, и он потерял сознание; когда же пришел немного в себя, увидел, как мимо него проносятся чужие всадники, а где-то по холмам и долинам Радогостя раздаются крики и стоны – там бежали перепуганные насмерть женщины, за ними гонялись пришельцы, и над всем этим стлался дым, дыма становилось все больше и больше, – собственно, от дыма, наверное, Сивоок и пришел в сознание. Задыхаясь и кашляя, он поднял голову и увидел высокий столб яркого пламени над Радогостем, над самым высоким холмом, где должно было стоять капище, украшенное снаружи и изнутри невиданными узорами, резьбой и красками.

Тогда он вскочил и побежал туда, и никто ему не мешал, никто не ловил его, ибо он был, наверное, единственный, кто бежал к пожару, все остальные удирали оттуда, пожар гнался за людьми, прожорливо набрасывался на все, что попадалось у него на пути: жилища, деревья, хлеб; редела скотина,

надрывно лаяли собаки, ржали кони, а над всем этим – сухой треск огня, полыханье пламени, черные столбы дыма.

Потом все же на Сивоока набросились какие-то люди, он защищался, бил, быть может, и отнял даже у кого-нибудь жизнь, но сам остался цел, только избит до полусмерти и увязан крепкими ремнями так, что не мог и пошевелинуться. Его привели, как и многих других, в тихую долину, куда не достигал пожар, но оттуда он тоже был хорошо виден; в этой лощине расположилась дружина с красными щитами, будто перенесенная неземной силой от пущи прямо туда, в самую середину Радогостя. Впереди дружины стоял белый конь в дорогом уборе, но не коня прежде всего увидел Сивоок, не драгоценный нагрудник на нем и не шитую золотом и камнями попону, а старого человека, сидевшего впереди коня на кожаном раздвижном стульчике. И снова не дорогие наряды заметил Сивоок на этом мужчине, не шелковый заморский плащ поверх золотой чешуйчатой брони, застегнутый круглой драгоценной пряжкой, не шитые жемчугами сапоги из зеленого багдадского сафьяна, не меч в ножнах, украшенных золотой чеканкой, рубинами, яшмой и изумрудами, – все это он заметил потом, когда ему нечего было делать, а только стоять и слушать, как шла речь о его судьбе, как говорили о нем, подобно тому как говорят о куске дерева, о вещи, которую можно просто выбросить или отдать кому-нибудь. А в тот момент, когда его толкнули к сидящему старику, он увидел прежде всего его глаза. Он натолкнулся на твердые гла-

за, равнодушные, напоминающие выступающий из воды камень, эти глаза смотрели на него и не на него, они смотрели словно бы сквозь него, но и не сквозь него, они все видели и одновременно – ничего, для них не существовало ничего на свете, кроме них самих, они жили собственным светом, собственными хлопотами, усталостью, знанием, покоем. Эти глаза так поразили хлопца, что он даже не удивился появлению Какоры, уже не на коне, а пешего, хотя все равно назойливого и наглого. Какора крепко держался за ремни, которыми увязан был Сивоок; могло показаться, что Какору сейчас более всего интересуют именно эти ремни, а не хлопец; пока Сивоок оцепенело рассматривал холодные глаза старика, Какора склонил свою башку в поклоне, забормотал:

– Великий княже, это – киевский отрок, прислуживавший мне, а ныне...

Глаза старика по-прежнему жили своей отдельной жизнью, и голос, прозвучавший в ответ на запутанную речь Какоры, никак не вязался с этими глазами – это был утомленный, приглушенный голос старого человека, в голосе чувствовалась сила, улавливалась многолетняя привычка к повелеванию, а еще пробивались сквозь этот голос сытная еда и питье всласть. Но Сивоок, как и перед тем, не вслушивался в слова, он слышал все, но не углублялся в смысл, он видел теперь отчетливо и старого человека, которого Какора называл великим князем и который, следовательно, был князем Владимиром. Наверное, Сивоок видел и его коня, и богатую

сброю, и богатый наряд, но более всего интересовали его в тот момент твердые, почти нечеловеческие глаза.

– А раз киевский, значит, крещеный, – бормотал Какора.

– Хорошо, – промолвил князь.

– А поелику имею свою добычу в городе, так пускай этот отрок...

– Про что молвишь?

– Пускай будет моим челядником. Работником.

– Не твой отрок, а киевский.

– Оставался здесь...

– Все равно – киевский...

– Но, княже... – Голос Какоры стал почти плаксивым.

– А что киевское – то княжеское.

– Имею добычу свою по повелению...

– Имеешь – вот и имей. А отрок – княжий человек. Развязать.

– Убежит! – закричал Какора.

– Правда? – спросил князь, не глядя на Сивоока.

– Убегу, – честно пообещал Сивоок.

– Тогда развязывайте его! – велел князь и отвернулся, так, словно устал от созерцания такого необычного отрока, на самом же деле, наверное, он и не видел его, ибо разве можно что-либо увидеть такими твердо-холодными глазами?

Если бы его держали, если бы пробовали повалить на землю, он защищался бы, кусался, рвался из всех сил, но ничего этого не случилось, просто старый человек с холодными гла-

зами велел развязать, чьи-то руки умело распутали на нем ремни, Какора, правда, толкнул под бок, но сразу же и отскочил, опасаясь быстрой сдачи. Сивоок пошевелил затекшими руками, переступил с ноги на ногу. Был свободен, обидно свободен, бежать не хотелось, ибо некуда было бежать и причины для этого не было.

Теперь его никто не трогал, потому что все каким-то образом узнали, что он был перед глазами князя и князь велел зачислить его к своим воинам. Сивоок мог толкаться среди всех, мог куда-то бежать, как все, мог что-то там тащить, с кем-то есть, пить. Но у него были свои заботы, он бросился к дому Звениславы – там все пылало, начал искать Ягоду, побежал к тому месту, где стояла его хижина, – и всюду огонь, огонь, огонь.

Изорванный, избитый, в кровоподтеках, Сивоок натыкался то на один пожар, то на другой, кого-то спасал, а там кто-то спасал его, потому что сдуру сгорел бы, придя в отчаяние оттого, что не находит ни Ягоды, ни Звениславы; Сивоок не мог толком понять всего, что слышал, а слышал множество страшных рассказов, былей и небылиц; и так закончился день, и миновала ночь, а в Радогосте еще пылало, и дым расплзался на окружающие пуши, и уже ползли новые слухи о том, как вчера сгорела в капище Звенислава и, может, еще кое-кто, и как дружина и вои погнали вечером всех радогощан к Яворову озеру, чтобы они приняли там крест, и как привезенные князем с собой киевские и греческие свя-

щенники зашли под яворы и приготовили кресты и сосуды со священной водой и кропила, а люди не хотели идти в воду, и был крик, и были вопли отчаяния, а потом из Яворова озера поднялись руки, могучие и шершавые, как кора деревьев, сотни лет стоявших в воде, и схватили священников, а с ними и некоторых дружинников, и со всем, что у них было в руках: с крестами, кропилами, оружием, – втащили их в озеро, и воды навеки сомкнулись над ними, и ужас воцарился там, все бросились врассыпную, пока не узнал обо всем этом князь и не велел поставить новых священников и сам приехал на берег озера, чтобы проследить за крещением непокорных радогощан, а если нужно будет, то и встать на прю с их старыми богами. Однако боги, видимо, довольствовались первой жертвой, которую для себя избрали, и уже ничего больше не случилось страшного, и утром князь велел тушить пожары и ставить на месте Звениславина капища деревянную церковь.

Люди князя не жалели ни сил, ни времени, лишь бы только была церковь; и она возвысилась на холме, острая и голая, как и крест над нею.

И снова – в который уж раз – Сивоок должен был смотреть на тот крест, который забрал у него все самое дорогое.

Год 1015

Предзимье. Новгород

*В лета 6523. Хотяцю Володимеру ити на
Ярослава, Ярослав же послав за море, приведе
Варягы, бояся отца своего.*

Летопись Нестора

Еще не чувствовал себя князем, был просто ребенком, немощным и изболевшим, самым несчастным в княжьем тереме; еще не осознавая всех обид, причиненных ему с момента рождения (или же еще и до того!), возмущался, что должен начинать свою жизнь в невыносимой боли, и кричал, кричал так, что его крохотное личико становилось синим от напряжения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.